А. ЗВЕРЕВ

МИР МАРКА ТВЕНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

SHOUT
SHARE
IT

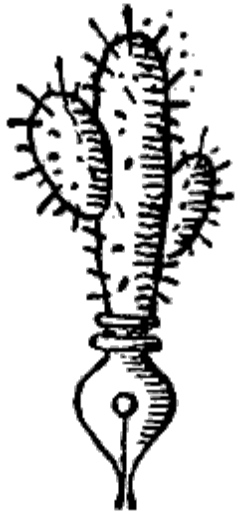
Annotation

Очерк жизни и творчества выдающегося американского писателя, в котором биография писателя тесно переплетается с биографией его книг. Анализ творчества М. Твена дан на фоне основных событий американской истории.

Источник: http://s-clemens.ru/ — «Марк Твен».

- А. Зверев
  -
  - Флорида и Ганнибал
  - От реки к океану
  - Марк Твен улыбается
  - Удивительный мальчик Том
  - На плоту
  - Свет истории
  - Клокочущий вулкан
  - Основные даты жизни и творчества Марка Твена
  - Иллюстрации
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

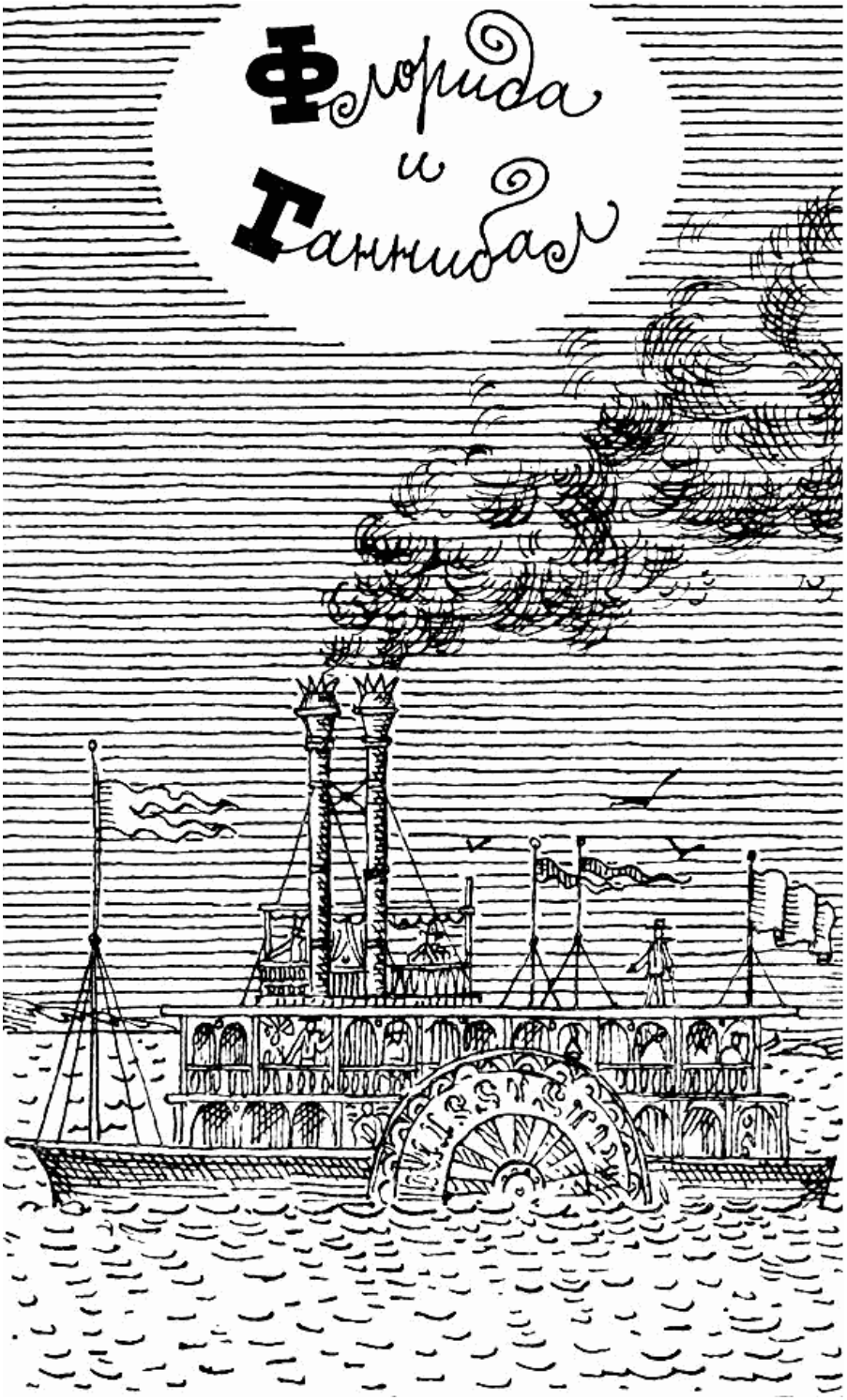
А. Зверев
Мир Марка Твена



(Очерк жизни и творчества)

Флорида и Ганнибал

Флорида и Ганнибал



«Парохо-о-од!» Словно бы взрывался раскаленный, неподвижный воздух, и все оживало под выцветшим от зноя небом, когда на дальнем горизонте чуть заметной струйкой обозначался приближающийся к Ганнибалу дымок. Первым его всегда замечал негр-возчик. На зависть мальчишкам, дежурившим у причала, возчик обладал необыкновенным зрением и громовым голосом. Мальчишки являлись на свою добровольную вахту с утра. К полудню слезились от напряжения глаза, уставшие обшаривать пустые пологие берега Миссисипи, разлившейся здесь широко — почти на полтора километра. Синел вдали непролазный лес, и все так же поблескивала под солнцем медленная зеленовато-коричневая вода.

«Пароход иде-ет!»

Теперь уже ясно видится силуэт острого, длинноносого судна, сверкающая стеклом и позолотой лоцманская рубка, надраенные палубы, окруженные белыми поручнями. Дым становится особенно черным и густым: считалось шиком, подходя к пристани, приветствовать собравшихся на ней дымовым салютом, и в топки подбрасывали специально заготовленные смолистые сосновые поленья. Пронзительный гудок сливается с восторженными криками встречающих. Приготовлены сходни, матрос вот-вот бросит на причал туго свернутый канат. Теснятся на верхней палубе пассажиры. Капитан стоит у большого колокола — спокойный, полный сознания собственной важности.

Весь городок, минуту назад погруженный в мирную дрему, сейчас охвачен бурной деятельностью. Брошены палочки, которые от скуки обстругивали приказчики, развалившись на плетеных стульях перед лавками, куда редко кто заходит. Гремят по мостовой тележки, нагруженные нехитрой поклажей. Обгоняя друг друга, несутся к реке мужчины, дети, собаки, разбегаются испуганные свиньи, копавшиеся в кучах арбузных корок. Даже местный пьяница и бездельник Джимми Финн, дни напролет отсыпающийся в тени прямо на земле, вылез из своего убежища, разбуженный поднявшейся суетой.

А горластый речной красавец — медная обшивка, две высоченные трубы, разрисованные кожухи над колесами, название, выписанное затейливыми буквами, — швартуется, взбивая воду пеной. Звонит колокол, начинаются высадка и посадка. Сгрудившись на баке, команда лениво разглядывает привычную суматоху. Скоро спустят флаг и судно двинется дальше, вниз к устью Миссури или вверх к Сент-Полу. И сколько еще будет по пути таких же, как Ганнибал, невзрачных, заспанных городков!

С прощальным звонком чудо кончится — до вечера, когда

острый глаз возчика снова различит дымок: это подходит встречный рейс. Тогда все повторится — гомон, беготня, восторги. Жизнь опять встрепенется, пусть на мгновенье. Без таких мгновений она была бы, наверное, совсем тоскливой.

Идет пароход…

В детстве у Марка Твена не было желания сильнее и заветнее, чем стать матросом, самому надеть белую форменку юнги или промасленную куртку механика, затянуться широким кожаным поясом, выучиться словечкам, какими щеголяли речные волки, и когда-нибудь пройтись по улицам Ганнибала раскачивающейся походкой лоцмана, привычного к качке и штормам.

Об этом грезили все мальчишки Ганнибала. Знали назубок самые знаменитые истории о крушениях, пожарах и взрывах, которые случались на реке постоянно. В воскресной школе давали клятвенное обещание хорошо себя вести и надеялись, что бог их за это вознаградит, позволив сделаться пиратами. Играли в лоцманов и капитанов, в палубных матросов и кочегаров.

Один из них удрал в Сент-Луис — большой город, построенный там, где сливаются Миссисипи и Миссури. И вдруг вернулся помощником механика. Он разгуливал в перепачканных маслом штанах и сыпал пароходными терминами, как будто всем прекрасно известно, что такое бакборт или форштевень. Когда его судно стояло в Ганнибале, он нарочно чистил у поручней какой-нибудь болт, чтобы былые приятели оценили, как ему повезло. А приятели, столпившись на берегу, жадно его разглядывали и испытывали сложное чувство — не то восхищение, не то ненависть.

Потом начали уезжать и они сами. Сыновья священника и почтмейстера становились лотовыми на «Поле Джонсе» или рулевыми на «Большой Миссури», на худой конец — хоть пароходными кассирами, буфетчиками, судовыми клерками. Река тянула к себе неодолимо. На реке была настоящая жизнь.

Через много лет Марк Твен — знаменитый писатель, объездивший полмира, — скажет, что нигде ему не встретилось людей совсем незнакомых и необычных, потому что всех их он уже успел перевидать в юности, на реке. Да и в самом деле, сколько пересеклось здесь — на речном пути от верховий Огайо до Нового Орлеана — жизненных дорог, сколько человеческих судеб здесь складывалось и разбивалось!

Плыли вверх и вниз по Миссисипи фермеры и коммерсанты, промышленники и политики, странствующие актеры, профессиональные карточные игроки, искатели удачи и легких денег, вчерашние английские крестьяне и немецкие пекари, побросавшие на родине свой жалкий скарб, а теперь мыкавшиеся

по Америке, которая издалека казалась им райским уголком. Плыли работорговцы и везли в трюмах свой живой товар — чернокожих невольников. Плыли бродячие проповедники, и шарлатаны, по линиям ладони и по шишкам на черепе бравшиеся предсказывать человеку его будущее, и земельные спекулянты, и обнищавшие европейские дворяне, которые приглядывали богатых американских невест, и голодные циркачи, устраивавшие представления прямо под открытым небом на главной площади богом забытых городков.

У всех были свои планы, свои надежды, порой сбывавшиеся, но чаще, гораздо чаще шедшие прахом, разбиваемые жестоко и беспощадно. Кто-то, отчаявшись, пускал себе пулю в лоб, другие, перетерпев невзгоду, придумывали для себя новый и, казалось, безошибочный проект счастья, а придумав, бросались на пристань, чтобы первым же пароходом отправиться дальше по реке — вверх или вниз, навстречу обманчивой и дразнящей удаче.

И однажды настал день, когда река позвала к себе подростка из Ганнибала так властно, что он не смог сопротивляться.

Он сделался лоцманским «щенком» — так называли взятых в обучение молодых бестолковых парней, из которых со временем вырастали настоящие хозяева Миссисипи. Он водил пароходы по ее притокам и протокам, а фарватер великой реки изучил, как собственную ладонь, за те четыре года, что продолжалась его лоцманская служба. Много лет спустя он воспел эту реку и кипевшую на ней жизнь в книгах, которыми и сегодня зачитываются во всех странах света.

Когда к нему пришла слава, он начал получать много писем от читателей. И вот однажды пришло письмо Уотти Баузера, двенадцатилетнего школьника из Техаса. Ему задали сочинение на тему: «Кем из великих людей ты хотел бы стать?» Другие ребята вспомнили знаменитых путешественников, изобретателей, генералов, а вот Уотти выбрал для подражания писателя, создавшего книги о Томе Сойере и Геке Финне. «Он такой веселый, самый веселый человек в мире, — написал он в своем сочинении. — У него есть все, о чем я сам мечтаю».

А теперь он спрашивал вот о чем: если бы можно было поменяться местами, согласился бы Марк Твен позабыть, что он так знаменит, и снова превратиться в обыкновенного мальчишку?

Твен ответил сразу же: конечно, согласился бы. Но не безоговорочно. Он ставит свои условия. Главное условие — «остаться лоцманом навсегда». И другие условия. «Пусть вечно стоит лето, цветут магнолии на Рафл-пойнте, а тростник на сахарных плантациях зеленеет и еще не скоро начнут сжигать

сухие стебли, застилая едким дымом берега… Пусть мне не придется вставать на вахту в полночь, ну разве что при полной луне… пусть всегда будет полноводье, и пароход скользит по реке, как утка по пруду, пусть рядом будут друзья, и мы будем болтать дни напролет, покуривая да салютуя гудками встречным кораблям… Пусть плаванье будет долгим, а стоянки короткими, и команда пусть все время будет одна и та же, какую я сам бы подобрал из ребят, с которыми водился лет двадцать назад, — только вот беда, половины из них уже нет на свете, а других разбросало по стране, и обломки моего парохода давно уже гниют на дне излучины под Новым Мадридом, штат Миссури».

Став взрослым, он нечасто бывал там, где прошли его детство и юность. Но река оставалась с ним и в эти долгие годы разлуки. Сердце Марка Твена было отдано ей навеки. Своему другу писателю Хоуэлсу он признавался: «Я из тех, кто в любую минуту бросил бы литературу, чтобы снова встать за штурвал».

И свое литературное имя он выбрал не случайно. Во времена, когда он был лоцманом, на всем течении Миссисипи, перерезавшей Америку пополам с севера на юг, не было ни одного маяка — только одноразовые буйки, которые ставил сам лоцман, шестом прощупав дно и сбросив с вельбота загнутую доску с тяжелым камнем на одном конце, свечкой в бумажном фонарике — на другом. Лоцман замерял глубину и кричал своему помощнику на рубку: «Марк Твен!» — отметь, что до дна две сажени (около четырех метров) и, значит, пароход может пройти.

За этой подписью — Марк Твен — с 1863 года выходило в свет все, что он печатал. Должно быть, закончив книгу и подписывая ее, он каждый раз вспоминал свои родные места и вольную речную жизнь. И ему хотелось, чтобы в написанном им всегда была частичка этого неповторимого света, глоток воздуха, который при одном воспоминании кружил ему голову ощущением бесконечного счастья.

А настоящая его фамилия была Клеменс. Сэмюэл Клеменс, сын судьи Джона Клеменса из Ганнибала. Точнее, не из Ганнибала, а из деревушки Флорида, где будущий писатель родился 30 ноября 1835 года.

В этой деревушке, вспоминал Твен, «было сто человек жителей, и я увеличил население ровно на один процент. Не каждый исторический деятель может похвастаться, что сделал больше для своего родного города».

Родным городом, впрочем, был все-таки Ганнибал, куда Твена привезли, когда ему не исполнилось и четырех лет. Жителей здесь было много — целых полторы тысячи. Еще больше обитало в Ганнибале бродячих собак и кошек. Сердобольная мать Твена

вечно их подбирала и подкармливала.

Между двумя холмами, круто обрывающимися к Миссисипи, налезали друг на друга как попало выстроенные хибары, лачуги, хижины, сараи, склады, дымили лесопилки, тучи мух вились над свалкой неподалеку от боен. Две церкви упирались окнами одна в другую, хозяева двух безнадежно прогоравших гостиниц наперебой расхваливали свои заведения случайному постояльцу, у кузницы впритык стояли фермерские повозки, а на задворках табачной фабрики стайки ребятишек играли в индейцев, в кораблекрушение и в войну.

Весной и осенью городок на несколько дней пустел — все отправлялись на охоту. Медведи и волки отступили в лесную глушь, но олени паслись стадами прямо за окраиной, а караваны перелетных гусей и уток издавна облюбовали окрестные заводи и озера, служа легкой добычей. Порох был дорог, и зря его не тратили. Диких голубей ночами сбивали палкой прямо с веток, предварительно ослепив соломенными факелами.

Нравы здесь были простые, словно и не начинался XIX век с его «золотыми лихорадками», жестокими битвами за место под солнцем и массовым помешательством на деньгах, деньгах, деньгах… В Ганнибале деньги расходовали редко, приберегали до поездки в Сент-Луис или в Новый Орлеан. Расплачивались кто дровами, кто свининой, кто репой и луком или сахаром и мануфактурой. О медицине и не слыхивали, лечились по старинке, домашними средствами, а на крайний случай посылали за фельдшером. Книг, кроме библии, не держал никто, поглазеть на заезжего собирался весь город, и пьяному гастролеру ничего не стоило дурачить этих простодушных провинциалов, неся ахинею и выдавая ее за творения Шекспира. Было две школы, где обучали чтению, письму и закону божьему, — годам к тринадцати образование считалось законченным, о продолжении не помышляли.

По воскресеньям детей в обязательном порядке отправляли в храм, где они слушали проповеди, пели гимны и зубрили наизусть евангельские тексты. Для Сэма это была тяжелая мука. С детства наделенный пылким воображением, он совершенно ясно представлял себе то, о чем вел речь священник: Сатану, протягивающего к нему свою когтистую лапу из-за невыученных заповедей Моисеевых[1], серные испарения и полыхающий огонь адских печей, куда его вот сейчас швырнет злорадный искуситель рода человеческого.

Каждый раз после воскресной школы у него случался ночной кошмар. Он с криком выбегал на улицу и отчаянно противился, когда его снова укладывали. Наслушавшись про конец света, он

принялся на свой лад готовиться к этому событию. Спал вместе с самыми любимыми своими кошками. Набивал карманы лучшими рыболовными крючками и мраморными шариками.

На всю жизнь он сохранит глубокое отвращение ко всякой религиозности. Церковь он считал первой виновницей всевозможных преступлений против разума, человеческого достоинства и свободы: «В морях невинной крови, которые были ею пролиты, могли бы без помех разместиться все флоты мира». Бесчисленны явные или скрытые насмешки над библейскими легендами и евангельскими назиданиями, рассыпанные по его книгам. Порой он беззлобно подтрунивает — то над Адамом и Евой, такими нелепыми, если из сказок переместить их в реальный мир, то над Сатаной, умным и даже симпатичным джентльменом, хоть под пиджаком он и прячет свой козлиный хвост. Но Твен умел быть и резким. Он не простил церковникам ни креста, которым они освящали истребление туземцев в завоеванных колониях, ни костра, на который взошла одна из его любимых героинь — великая французская крестьянка Жанна д'Арк.

А пока он спасался от их всевидящего ока и карающей длани, убегая после воскресной школы на реку. Сразу за бойнями протекал Медвежий ручей; из него брали песок, и образовалась глубокая яма — замечательное местечко для ныряния. Сэм тонул в этом ручье два раза, еще шесть раз он тонул в Миссисипи — по счастью, его всегда вытаскивали и откачивали. «Не помню, какие именно люди своим несвоевременным вмешательством воспрепятствовали намерениям провидения, которое куда мудрее их».

В детстве он порой совершенно серьезно считал, что провидение вознамерилось сурово покарать его за грехи, загубив едва начавшуюся жизнь. Да ведь и была к тому причина! Он грешил тяжко, прямо-таки непростительно.

В воскресной школе Сэм и его приятель Уилл Боуэн затеяли игру в карты. Священник едва не застал их за этим занятием, и они поспешно засунули колоду в обшлага висевшего на стене стихаря. То-то был конфуз, когда, облачившись в стихарь, священник широким жестом благословил паству, и на ее головы посыпались короли да валеты.

За какие-то провинности мать отправила Сэма на покаяние к вечерней службе. Дело было зимой, церковь отапливалась плохо, и прихожане сидели в длинных черных плащах. Такой плащ был и на Сэме. Преспокойно двинувшись в противоположную от церкви сторону, он до изнеможения напрыгался и на кувыркался, а дома с постным лицом принялся рассказывать о чем была проповедь.

Все сошло бы ему с рук, только в темноте и спешке он не заметил, что, возвращаясь, надел плащ наизнанку — яркими клетками подкладки наружу. Явись он в таком виде к молитве, пожалуй, не выдержал бы и расхохотался сам почтенный настоятель.

Его счастье, что мать была женщиной добродушной и не лишенной чувства юмора. В доме Клеменсов детей пороли редко, разве уж совсем выйдут из повиновения. Сверстникам Сэма доставалось от родителей крепче. Случалось, не выдержав отцовской плетки, кто-нибудь сбегал из дома и с неделю прятался в окрестных лесах. Тогда поднимали на ноги весь городок, и Сэм с восторгом участвовал в поисках. Иной раз ему и самому хотелось удрать — просто ради приключения.

Он был совсем не похож на «Примерного Мальчика». Такой находился обязательно, и все мамаши им восхищались: ну просто ходячее совершенство — по манерам, поведению, сыновней почтительности, набожности, школьным отметкам. Сэм мечтал перетопить их в Медвежьем ручье.

Его удивило и страшно испугало, что провидение, кажется, исполнило его сокровенные мечты. Воскресную школу вместе с Сэмом посещал тщедушный и слабенький мальчик по прозвищу Немчура. У него была удивительная память на библейские стихи — Немчура мог прочитать три тысячи строк, ни разу не споткнувшись, и уже пять раз его награждали иллюстрированной Библией. Тоскливо-добродетельный, он пользовался дружной ненавистью соучеников, не упускавших случая поиздеваться над его благовоспитанностью.

Как-то отправились нырять к яме на Медвежьем ручье и поспорили, кто дольше продержится под водой. Бочары вымачивали в яме ивовые жерди для обручей — надо было, нырнув, ухватиться за жердь и сидеть, пока хватит дыхания. Немчура не выдерживал и мгновения, его голова тут же появлялась на поверхности под хохот и улюлюканье товарищей. Собрав всю свою волю, он нырнул еще раз — сейчас он докажет, что и ему по силам достать до самого дна, а ребята пусть считают время.

Перемигнувшись, мальчишки попрятались в зарослях ежевики и приготовились всласть посмеяться, когда Немчура увидит, что берег пуст и он зря старался. Прошло несколько минут. Поднялась тревога. Бросили жребий, и Сэму выпало нырнуть вслед за Немчурой — посмотреть, что случилось. В мутной воде он нащупал холодную руку: Немчура застрял между жердей и не смог выпутаться.

В ужасе, кое-как натянув на мокрые тела штаны и рубашки, компания разбежалась по домам. Ночью поднялась неистовая

гроза. Такие грозы разражались всякий раз, как происходили беды и несчастья. Так было и годом раньше, когда в Миссисипи утонул, свалившись с пришвартованной баржи, Клинт Леверинг. Течением тело вынесло на середину реки, мелькнул над волной выгоревший от солнца вихор, и больше никто не видел беднягу Клинта, заводилу всех детских игр. Спустили паром и поисковые лодки, стреляли над водой из пушки, пускали по реке ломти белого хлеба с несколькими капельками ртути (согласно поверью, они точно указывают место, где покоится утопленник) — все напрасно.

Оба раза грозы выдавались жестокие. Они бушевали до самого рассвета. Был ветер, раскалывалось над крышами небо, хвостатые молнии призрачным светом на секунду озаряли притихший городок, и снова налетал дождь — злой, упрямый. Трясясь под своим одеялом, Сэм размышлял о божьем гневе и неотвратимости наказания. С Клинтом все обстояло более или менее ясно: он отлынивал от воскресной школы, чертыхался, ловил рыбу, когда надо было идти на церковный праздник, мог приврать — словом, вполне заслужил свой жребий. Но сам он, Сэмюэл Клеменс, многим ли он лучше? И выходит, гореть ему в адском пламени рядом с Клинтом. Так ведь и священник предупреждал на вечерней проповеди: без верховной воли и волос не упадет с головы, все предопределено свыше, кто не покается — не спасется. И теперь сама природа подтвердила его слова. Чур нас, чур, да уж не сам ли Сатана бьет копытами в хлипкие стены клеменсовского дома, требуя душу Сэма?

Ну а Немчура? Тут дело осложнялось смутным чувством вины. Кто бы подумал, что шутка так скверно закончится? Нет, конечно, больше всех виноват сам Немчура: не умеешь нырять — не берись. А все-таки…

Такие мысли упорно не отпускали. И особенно навязчивыми они стали после еще одного события, которое девятилетнему Сэму запомнится на всю жизнь.

Новые люди были в Ганнибале редкостью, и на каждого незнакомца дети сбегались поглазеть со всего города. Однажды на главной улице появился худой, оборванный бродяга, которого никто прежде не видел. Он был пьян, и во рту у него торчала незажженная глиняная трубка. Толпа мальчишек провожала его на расстоянии нескольких шагов, бурно веселясь, когда бродяга спотыкался о выбоины разбитой мостовой, и насмешками откликаясь на его просьбы принести спички.

Сэму стало его жалко, он сбегал домой и стащил на кухне непочатый коробок. Вскоре появился полицейский, которого здесь пышно именовали маршалом, и отвел бродягу в городскую

тюрьму, почти всегда пустовавшую.

Ночью Сэма разбудили крики и беготня на дворе. Тюрьма пылала: закуривая, бродяга по неосторожности подпалил прогнивший тюфяк, вспыхнула деревянная обшивка стен, огонь охватил все здание. Двести полуодетых ганнибальских обитателей стояли перед тюрьмой, слушая вопли арестанта, вцепившегося в решетки камеры. Маршал куда-то запропастился, а единственный ключ был у него. Попробовали протаранить двери бревном, но кованое железо не поддавалось. Пламя, злобно торжествуя, взметнулось к темному небу, и душераздирающий крик возвестил о конце драмы, которой могло бы не быть, если бы не злополучные спички, которые сунул бродяге Сэм Клеменс.

Вновь выходило, что он прямо причастен к жестокости и смерти. Что это — злой рок, несчастное стечение обстоятельств или несовпадение невинных человеческих порывов и ужасных последствий, к которым они подчас приводят? Мальчиком Сэм не задумывался о таких сложных вещах, просто пытался заглушить все воспоминания и о бродяге, и о Немчуре. Но впечатления детства, особенно такие яркие и страшные, не забываются. И в книгах Марка Твена не раз возникнут те самые вопросы, на которые не мог — да не очень и хотел — ответить Сэм Клеменс.

Грозы кончались, снова сияло ослепительное утро, в свежевымытой зелени деревьев гомонили тысячи птиц, солнце подсушивало лужи, по которым кто-то уже пустил бумажные кораблики, — и сразу вылетали из головы ночные клятвы: никогда не опаздывать в церковь, во всем слушаться родителей, навещать старичков и читать им вслух рассказ про Лазаря[2], восставшего из мертвых. Наспех перекусив, Сэм пулей вылетал из дома и мчался на берег Миссисипи, к пристани, на холм, носивший романтичное имя Прыжок Влюбленного, — ловкий быстроногий мальчишка с серо-зелеными глазами и копной ярко-рыжих волос, всегда вившихся, как он ни пытался их распрямить речной водой и щеткой. И опять он был беззаботным, радостным, свободным. Как всегда в ту раннюю свою пору.

В маленьком Ганнибале общество четко подразделялось на несколько категорий. Все были знакомы друг с другом и особенно друг перед другом не важничали, но и о различиях не забывали: у каждого свой круг, своя мера вещей. Были люди из «хороших» семей, из семей попроще и из совсем простых. Кроме того, были негры, но их в расчет не брали — они представляли собой собственность, а не людей.

Семейство судьи Клеменса принадлежало к местной аристократии и водило дружбу только с теми, кто стоял на той же высокой ступени. Твену запомнились дома почтеннейших

граждан Ганнибала, куда его водили ребенком на разные семейные торжества. Через просторный, заросший травой двор тянулась вымощенная кирпичом дорожка, упиравшаяся в массивные двери под портиком из крашеных сосновых досок, призванным напоминать о роскоши и величии античных храмов. Из пустой прихожей открывался вид на гостиную — самую просторную комнату двухэтажного здания из бревен, украшенную неизменным ковром на полу и салфетками из разноцветной шерсти, связанными хозяйкой и дочерьми в долгие зимние вечера. На особом столике под лампой с зеленым бумажным абажуром красовался альбом, исписанный сентиментальными стишками и наставлениями из дамского журнала.

Горел камин, который еще не скоро заменят покрытые лаком печки. На полке над камином пылились корзины с гипсовыми, аляповато разрисованными персиками и апельсинами, а посередине висела картина, изображающая первого американского президента Джорджа Вашингтона в генеральской форме, на коне. Напротив — вышитое цветным гарусом благочестивое изречение или окантованная рамкой мазня какой-нибудь обедневшей дальней родственницы, давно расставшейся с надеждой выйти замуж и утешающейся лишь своими кажущимися художественными дарованиями.

И еще — две-три литографии, приобретенные со скидкой в последнюю поездку к родне в Сент-Луис лет пятнадцать назад: «Наполеон переходит через Альпы», «Возвращение блудного сына».

И еще — в большой массивной раме — групповой портрет семейства, по сходной цене изготовленный местным живописцем: папаша держит руку на пухлом томе американских законов, мамаша мирно вяжет в кресле, а у ее ног резвятся девицы в панталончиках с кружевами — все с застывшими улыбками на красных физиономиях.

И еще — горка, загроможденная фарфоровыми собачками, латунными подсвечниками, восковыми фигурками, сахарными кроликами, разноцветными корзиночками на подставке.

Какой непроходимой скукой веяло на впечатлительного Сэма и от этих выцветших дагерротипов, и от вылинявших ковриков из лоскутков! Десятилетиями восседали на продавленных камышовых стульях столпы ганнибальского общества и вели все те же разговоры про оптовые закупки леса, про субботнюю проповедь да про очередную выходку пьяницы Джимми Финна или его предшественника — еще одного безнадежного, беспутного забулдыги, называвшего себя генералом Гейнсом[3]. И мерно работали челюсти, пережевывая непомерно сытную,

однообразную еду.

Казалось, под этими крышами никогда ничего не происходит, и жизнь только притворяется жизнью, как притворяются настоящими цветами окостеневшие восковые муляжи, непременно красовавшиеся под стеклянным колпаком на самом видном месте в гостиной.

Но иногда что-то вдруг словно ломалось в добротно действовавшем механизме — сонная одурь сменялась вспышками ярости и злобы, каких, казалось бы, трудно и ожидать от чинных и степенных обывателей крошечного городка на Миссисипи. Невозможно было предугадать такие вспышки и трудно их объяснить. Только инстинктом — и безошибочным — Сэм улавливал, что все не так уж благополучно и прочно в мире, простирающемся вокруг него.

Жил в Ганнибале богатый торговец Уильям Аусли. Это был крупного роста мужчина, всегда одетый с иголочки и державшийся заносчиво, даже неприступно. Он курил какие-то особенные, изысканные сигары. Сэму запомнился их терпкий запах.

Поговаривали, что у себя на родине, в штате Кентукки, Аусли был замешан в темных аферах — кого-то разорил, кого-то просто обворовал. Наезжавший в Ганнибал за покупками фермер Смар — дядюшка Сэми, как его звали мальчишки, — подвыпив, вечно кричал направо и налево, что Аусли обобрал до нитки честную семью из соседнего города Пальмира: вот погодите, Смар выпорет этого мерзавца кнутом на глазах у всех. Пока дядюшка Сэми был трезв, он не обидел бы и мухи. Да и его разгулы всякий раз кончались тем, что он засыпал прямо за стойкой под добродушный смех собутыльников.

Солнечным летним днем Сэм сидел на лавке у своего дома и складным ножиком строгал из палки рапиру, когда в конце улицы появилась фигура Смара — он закончил дела и собирался пропустить первый стаканчик в кабаке за углом. Не доходя до Сэма, фермер замедлил шаг. Перед ним, загораживая дорогу, стоял Аусли.

Дальше все происходило стремительно. Блеснула на солнце вороненая сталь пистолета. Раздался выстрел. Смар пошатнулся и упал. Для верности Аусли выстрелил еще раз, повернулся и ушел, твердо чеканя шаг.

Несчастного старого выпивоху отнесли в соседнюю аптеку, уложили на стол и, чтобы бог облегчил умирающему страдания, придавили ему грудь тяжеленной Библией. Пока дядюшка Сэми истекал кровью, в сбежавшейся к аптеке толпе росло возбуждение. Бутылки виски переходили из рук в руки. У кого-то

вырвалось и загуляло страшное слово — «линчевать».

Слово это вошло в американский лексикон еще с конца XVIII века, едва Америка стала независимым государством. Был такой юрист Джеймс Линч, доказывавший, что в необходимых случаях граждане могут сами вынести и исполнить смертный приговор, обойдясь без судебной волокиты. Эта опасная идея упала на благодатную почву. Немного демагогии — и любой проступок можно было признать требующим немедленной высшей кары: не надо ни разбирательств, ни улик. Негров в те времена и вообще-то редко судили, любой плантатор сам устанавливал правовые нормы и укреплял их бичами надсмотрщиков или свинцовыми пулями для недовольных. А в глухомани, подальше от больших городов, методом Линча охотно сводили личные счеты, вымещая на жертвах — часто совершенно случайных — скопившееся озлобление от собственных неудач или внося своеобразное оживление в монотонное провинциальное житье.

Главное было наэлектризовать толпу, а что решит в охватившем ее возбуждении толпа, то и истина. В тот вечер никого не потребовалось уговаривать: все мужское население Ганнибала, вооружившись чем попало, ринулось к дому Аусли вершить расправу. Пьяного запала хватило на то, чтобы разнести в щепы новенькую ограду; подступили к крыльцу — и тут на крыше показался сам хозяин, целящийся в нападающих из двуствольной винтовки. Ни один мускул не дрогнул на его лице, глаза смотрели решительно и холодно. Забравшийся на дерево Сэм видел, как, оробев, подались назад первые ряды, как пригибались к земле мужчины, когда Аусли медленно переводил мушку с одного на другого, и как в считанные минуты затоптанный двор опустел.

Лишь через год начался суд над убийцей. Отец Сэма помогал готовить этот процесс, собрав необходимый прокурору материал. Но у Аусли были могучие покровители, да и взятку он, видимо, дал порядочную. Во всяком случае, присяжные его оправдали. По этому случаю приятели Аусли устроили факельное шествие и шумную пирушку, продолжавшуюся ночь напролет.

Аусли вскоре уехал из Ганнибала, но в городе еще долго толковали обо всей той истории. Возмущались несправедливостью, понося подкупленных судей. Только об одном не говорилось ни слова — о слепой ярости, превратившей неприметных и смирных ганнибальских жителей в неуправляемое стадо, и об их трусости при столкновении с сильной и злой волей. А Сэма всего больше поразила и напугала эта жажда крови, эта ненависть, наткнувшаяся на жесткий отпор — Аусли умел ненавидеть еще сильнее. Через много десятилетий Марк

Твен вспомнит, как мальчуганом он просыпался по ночам от жуткого ощущения, что это его, грудь придавливает раскрытая Библия. И тогда моментально возникали перед глазами все подробности того незабываемого дня: хрипы умирающего Смара, пьяные выкрики толпы, торчащие за голенищами кухонные ножи, черные отверстия стволов, наставленных прямо на кабатчика, бежавшего впереди всех…

Во многих книгах Твена возникнет этот образ — толпа, неистовая, вздыбившаяся людская масса, когда уже нет людей, а есть только орущие глотки, одержимость, истерика, общее безумие, которое охватывает какой-нибудь ничем не примечательный поселок, оставляя после себя разрушение и смерть.

Как-то само собой выходило, что Сэм почти всегда присутствовал при кровавых трагедиях, омрачавших мирный небосвод над его родным Ганнибалом. Он был рядом, когда два юных шалопая — родные братья — о чем-то заспорили со своим почтенных лет дядей, и один свалил старика на пол, другой же пытался его прикончить из револьвера, по счастью давшего осечку. Он видел, как в пьяной драке полоснули бритвой переселенца, двигавшегося через Ганнибал на новые земли, за Миссисипи. А однажды, вернувшись домой с реки поздно вечером, он онемел от ужаса, когда обнаружил в передней завернутое в одеяло мертвое тело фермера, которого не раз встречал возле магазинов на главной улице. Оказалось, этот фермер хвастался, что у него плуг лучше, чем у соседа, а сосед, выведенный из себя насмешками, пырнул его ножом прямо в сердце. Судье Клеменсу предстояло разбирать это дело, труп принесли к нему в дом в виде вещественного доказательства.

Кошмарными видениями преследовали его все эти сцены, и, пробудившись в холодном поту, он долго не мог успокоиться, стонал, ворочался и засыпал, только усилием воли заставив себя подумать о чем-нибудь другом, радостном. Обычно — о ферме дяди Джона.

Клеменсы уезжали туда на два-три месяца каждое лето. Ферма располагалась поблизости от той самой Флориды, где родился Сэм, и езда была недолгая — всего несколько часов в тяжело груженной повозке по разбитому дождями проселку. Но собирались с такой тщательностью, будто путь лежал по меньшей мере в Европу и обратно. Сэм тоже готовился со всем старанием. Раздавал приятелям на хранение свои драгоценности — бумажного змея, медную дверную ручку, одноглазую кошку. А для кота Питера, своего любимца, устилал тряпочками дно специальной дорожной корзинки.

В тенистом саду, спрятанный под столетними деревьями, стоял тесаный пятистенок с крытой галереей и примыкающей необъятной кухней. Двор был обнесен частоколом, за которым торчала крыша коптильни. Ореховая рощица начиналась прямо в углу двора — поближе к осени мальчишек оттуда было не вытащить. А дальше по крутому спуску — мимо амбаров, конюшни, табачной сушильни — тропинка вела к прозрачному ручью на песчаном дне оврага, сплошь заросшего ивами и диким виноградом.

Вот где был простор поиграть в разбойников, полазать по деревьям — кряжистым старым соснам и высоченным пеканам, прячущим под широкими листьями крупные, похожие на орехи плоды, — и на спор переплыть без отдыха туда и обратно глубокую заводь, хотя тетушка Пэтси строго-настрого запретила к ней даже приближаться, и погоняться за здешними диковинными бабочками с ослепительно яркими, цвета киновари, пятнами на крыльях, а к полудню, когда печет нестерпимо, отправиться домой — каждый раз новой дорогой, самостоятельно ее прокладывая среди кустов малины и обходя крапиву, вымахавшую выше человеческого роста. Возвращались исцарапанные, побронзовевшие от ветра и загара, не чуя под собой ног от усталости и счастливым смехом отделываясь от нестрогих попреков дяди Джона.

В галерее уже накрыт стол — ах, какой стол, другого такого не будет во всю жизнь! Боже мой, да разве умеют готовить там, в городе! Несчастные мальчики — и Сэм, и Генри, его младший брат, — ну просто заморыши! И тетушка Пэтси все подкладывает да подкладывает на тарелки — и что за вкуснотища: пылающие гречневеки, горячие маисовые лепешки с сиропом, пироги с персиками, дикая индейка, кролик под соусом, и помидоры, и дыни — все это прямо с грядки, и сухарики только что из печки, и вареные початки первой кукурузы, которую сняли нынче утром.

Но уже манит к себе начинающийся за домом широкий луг, где полным-полно полевой клубники. И взгорок, на котором устроили качели из коры, содранной с молодого орешника, — кора высыхала, качели обрывались, и, что ни год, кто-нибудь, сорвавшись с них, ломал руку, а все равно продолжали качаться с упоением. И пыльная дорога, идущая мимо забора, на ней всегда греются змеи, которых так боится тетушка, — хорошо бы найти ужа и подсунуть ей в рабочую корзинку!

Даже школа не была здесь в тягость. Маленькие Клеменсы вместе со своими кузенами — восемью пострелятами мал мала меньше — посещали деревенскую школу раза два в неделю. Школа стояла среди леса на просеке, учились в ней дети из

окрестных ферм круглый год, с перерывами на времена непогоды. Летом приятно было пробежаться босиком по лесным тропинкам, славно подкрепившись на дорогу и уложив в ранец пирожки да пышные булочки, заботливо приготовленные тетушкой. Первый раз Сэм пришел сюда на урок, когда ему исполнилось семь лет. Рослая девица-одноклассница — она была вдвое старше — поинтересовалась, не найдется ли у него табачной жвачки. Табак в те времена жевали в Америке все от мала до велика — европейцев удивляла и возмущала эта грубая привычка. Впоследствии над ней иронизировал и Марк Твен. А у семилетнего Сэма жвачки не было, он ею никогда не пользовался. Вот как? Тогда с ним и разговаривать не о чем. Семь лет, а даже не выучился жевать табак!

Он легко пережил презрительные комментарии соучеников. В школе ему понравилось: все по-домашнему, без нравоучений и наказаний. Если бы не река и кипевшая на ней таинственная, влекущая и прекрасная пароходная жизнь, он бы охотно остался у дяди Джона насовсем. Так бы весь свой век и носился по этим полянам и лесам, по громоотводу слезал ночью в сад, если были дела, которые следовало держать в секрете от взрослых, а зимой грелся бы у камина, где пылали ореховые поленья, каплями выпуская пузырящийся сладкий сок. Выбирал бы вместе с дядей поспевшие арбузы, нетерпеливо дожидаясь, когда первая корка хрустнет под ножом, и сам совершал бы тайные набеги на бахчу. Ходил бы со взрослыми охотиться на опоссума и на енота, поеживаясь от ночной сырости и чутким ухом ловя голос далекой собаки, загнавшей добычу на дерево. Жил бы себе, как живет природа, — вольно, безмятежно, сам для себя решая, где правда, где ложь, и, наверное, не ошибаясь, потому что голос сердца никогда не обманывает.

Но лето кончалось, и надо было возвращаться в Ганнибал, где сразу же озабоченным и раздражительным становился отец, а в воскресной школе возобновлялась пытка зубрежкой. Лили дожди, потихоньку замирала навигация на Миссисипи, мир все сжимался, тускнел, и так до самого рождества, когда детей опять отправляли на недельку к дядюшке и тетушке под Флориду: проветриться, что для Сэма означало — ощутить себя в родной стихии.

У дяди Джона было двадцать чернокожих рабов. Они обслуживали дом и выполняли всю работу на табачной плантации, в хлеву и в коптильне. Их хижины лепились прямо за садовой оградой, а в углу двора виднелся просевший от ветхости дощатый домишко, где жила седая старуха негритянка, давно уже не вставшая с постели. Никто не знал, сколько ей лет. Но

поговаривали, что она беседовала чуть ли не с самим Моисеем — тем самым, из Библии.

Так считали негры помоложе, и маленькие Клемансы им верили полностью. Негритянские ребятишки были товарищами всех их игр, почти настоящими товарищами. Без слова «почти» тут не обойдешься: играли вместе, но каждый знал, что белые — это одно, а черные — совсем другое, белые — хозяева, а черные — это их рабы. Клемансы старались никак не подчеркивать подобные различия, но вовсе их не ощущать тоже было нельзя.

И тетушка Пэтси, и дядя Джон были людьми редкостно добросердечными, многого от своих рабов не требовали, дела с ними улаживали по взаимному согласию. Никого не наказывали слишком строго. А уж о том, чтобы продавать невольников работорговцам, разлучая семьи и обрекая здорового, физически крепкого человека на верную скорую смерть от непосильного труда у южных плантаторов, тут вроде бы не могло быть и речи.

Сэм сызмальства привык к такому порядку вещей. Дома, в Ганнибале, у Клеменсов тоже были негритянские слуги. Был Сэнди, ровесник Сэма, нанятый, чтобы бегать в лавки и помогать на кухне. Он родился на самом севере страны, где рабства не знали, но каким-то образом был разлучен с родителями, привезен на юг и продан с аукциона. Вечно этот Сэнди пел, хохотал, насвистывал, подымая немыслимый шум. Однажды Сэм пожаловался матери, что от завываний Сэнди у него трещит голова, но мать тут же оборвала его со всей решительностью: раз поет — значит, ему хорошо, он уже не тоскует по своему дому, а это самое главное.

Была Дженни, нянька и прислуга, давняя спутница Клеменсов, вместе с ними порядком поскитавшаяся по деревушкам и поселкам вдоль Миссисипи, прежде чем семья обосновалась в Ганнибале. Дженни принадлежала Клеменсам точно так же, как кухонная утварь, с которой она возилась. По закону не было никаких различий между человеком, если он раб, и, например, хрустальной вазой или акцией речного пароходства. И то и другое — собственность. Можно продавать, покупать, одалживать, в общем, распоряжаться, как найдет нужным владелец.

С Дженни тоже обращались неплохо, и она особенно не жаловалась, если только у судьи Клеменса от очередной неудачи в делах не портилось настроение и не возникало желание отыграться на всяком, кто подвернется под руку. Тогда, страшась подзатыльников и зуботычин, утихал даже Сэнди. А как-то раз Сэм увидел, как его отец, скрутив Дженни руки и поставив ее на колени, методично взмахивает хлыстом. Он нашел дерзким ее

ответ на какое-то свое замечание. Порка напомнит ей, кто она такая.

Клеменсов никто не назвал бы жестокими людьми. В этом они походили на большинство жителей Ганнибала, где в отношении рабов, как писал, оглядываясь на свое детство Твен, «жестокости были очень редки и отнюдь не пользовались популярностью». Работорговцев здесь не любили, чурались их и отвечали отказом на самые выгодные предложения с их стороны, если только материальные затруднения не вынуждали прибегнуть к столь неприятному средству, как продажа невольника, которого увозили по реке к Новому Орлеану; на плантации хлопка, о которых ходила страшная слава. Но когда в спешном порядке требовались деньги, рабов вели на аукцион, а закончив сделку, просто старались о ней не вспоминать — к чему расстраиваться, так уж заведено, что в мире есть хозяева и рабы.

В самом рабстве ничего предосудительного, не говоря уж — чудовищного, здесь не находили. Наоборот, оно было освящено двумя веками традиции и тысячи раз оправдывалось, благословлялось с церковной кафедры. В Библии находили множество мест, где говорилось, что рабство необходимо, справедливо, разумно и невольник должен денно и нощно благодарить судьбу за то, что он не свободен. Были, правда, в Библии и места совсем иного содержания, а американская конституция — в ту пору самая передовая, самая демократичная в мире — прямо указывала, что все люди имеют одинаковые права на свободу, равенство и стремление к счастью. Но проповедники обходили молчанием те библейские тексты, которые могли бы заронить сомнение в том, что рабство богоугодно. И конституция оставалась конституцией, а реальная жизнь — реальной жизнью. Те, кто в 1783 году, когда Америка победила Англию в войне за независимость, писал конституцию, между прочим, и не подумали специально оговорить, что дарованные ею права распространяются и на негров, да и сами они были крупными рабовладельцами. Прославляли равенство и при этом торговали людьми.

Вот и получалось, что даже люди от природы добрые и мягкие, как родители Сэма, считали само собой разумеющимся, что рабство всегда было и будет. И если у белого человека сердце настоящего христианина, а негр умеет безропотно покоряться своей судьбе, то получается что-то вроде семьи: хозяин — это отец, а чернокожие слуги — это дети, которых надо приструнить, когда они уж очень расшалятся, но не давать в обиду, как следует кормить и одевать да воспитывать в согласии с евангельскими заповедями.

Это «благодушное домашнее рабство», о котором часто пишет в своих книгах Марк Твен, конечно, было предпочтительнее дикого произвола и бесчеловечности, царивших дальше на юге, в хлопковых районах. Но оно оставалось рабством, иначе говоря, неприкрытым и варварским насилием над людьми, родившимися с черной кожей. Можно было сколько угодно рассуждать о благолепной гармонии и христианской кротости — это ничуть не мешало ни сечь раба кнутом за любую промашку, ни разлучать при дележе наследства негритянских детей с их родителями, ни самыми жестокими средствами искоренять всякое проявление недовольства со стороны невольников.

Ганнибал примостился на правом берегу Миссисипи: здесь был штат Миссури, а на левом берегу начинался штат Иллинойс, где рабства не было. Незримая граница, проведенная по тридцать третьей параллели, разделяла страну на свободные и рабовладельческие территории. Так было решено после долгих раздоров между Севером и Югом.

На Севере росла промышленность и требовалось много, очень много крепких рук. Северу нужны были фабричные рабочие, а не рабы. Но Юг нуждался именно в рабах. Здесь на сотни километров протянулись поля хлопка. Хлопок не обрабатывали, только выращивали и продавали на Север или англичанам. Труд рабов на этих плантациях не стоил почти ничего и давал громадную прибыль.

Мало кто мог выдержать даже несколько лет такого труда, поэтому рабов всегда не хватало. Их тайком привозили из Африки, хотя это было давно запрещено. Их скупали по всем землям, где существовало рабовладение. Только и этого южанам было мало. Они добивались, чтобы, как встарь, рабовладение распространилось на всю Америку. А северяне стремились к тому, чтобы рабство повсюду в Америке отменили. Тогда появилась бы возможность развивать индустрию намного быстрее и дешевле.

Отношения между Севером и Югом обострялись, в воздухе уже запахло Гражданской войной, которая начнется весной 1861 года и унесет более полумиллиона жизней, прежде чем с рабством будет покончено. На Севере еще в годы раннего детства Сэма Клеменса крепло движение противников рабства, аболиционистов. Это были смелые, самоотверженные люди. Они заботились не об интересах северных промышленников, а о справедливости, и не их вина, что в американских условиях дело в конце концов решила как раз необходимость насытить аппетит индустриальных и транспортных магнатов, которые оказались посильнее хлопковых королей с Юга, хотя и тех и других справедливость беспокоила менее всего.

Аболиционисты наладили знаменитую «подземную железную дорогу» — систему укрытий и тайных коммуникаций, при помощи которых рабов переправляли на свободные территории, подальше от владельцев и устраивали в каком-нибудь надежном неприметном местечке, нередко даже в Канаде. Участники этого движения часто бывали на Юге, без утайки рассказывали обо всем, что там видели, и такие рассказы будоражили совесть слушателей.

Судьба этих людей нередко бывала трагической. Сэму было шесть лет, когда судье Клеменсу довелось разбирать дело трех северян, пойманных при попытке склонить к бегству группу невольников с одной фермы под Ганнибалом. Рабы не послушались уговоров своих освободителей, связали их и привезли в город к шерифу. У здания суда поджидала группа самых отъявленных расистов со всей округи, поползло знакомое зловещее слово — «линчевать». С громадным трудом удалось соблюсти минимальные юридические формальности. Свидетелями выступали сами рабы, хотя по тогдашнему закону их показания не имели судебной силы. Приговор гласил: двенадцать лет тюрьмы каждому из трех храбрецов. А расисты, чтобы поощрить усердие собственных слуг, собрали для них по подписке несколько долларов.

По соседству произошел случай еще ужаснее. Доведенный до отчаяния побоями и издевательствами, бежал на Север молодой негр, почти подросток. Он добрался до берега реки, за которой простиралась свободная земля, а здесь, у переправы, его опознал и схватил полицейский, специально назначенный выслеживать таких беглецов. Рядом находился северянин-аболиционист, который предложил выплатить на месте причитающуюся за этого раба сумму. Полицейский отказался. В ход пошла сила, и в драке полицейский был убит. Аболиционист отправил раба в свободный Иллинойс, а сам явился с повинной в местный суд. На этот раз линчевания не произошло только потому, что никто не сомневался в смертном приговоре. Он и был вынесен — аболициониста повесили через неделю.

Проходя по улочкам Ганнибала, любой невольник мог своими глазами взглянуть на мир без рабства. Он был совсем рядом, через реку. И все равно недоступен. Случаи бегства на Север учащались, и тогда плантаторы, у которых были в правительстве сильные сторонники, добились важной поправки к законам: теперь укрывательство беглых рабов категорически запрещалось и в свободных штатах. Создали особые команды, разыскивавшие и ловившие сбежавших рабов по всей стране. Куда бы человек ни поехал, на любой почтовой станции, в любом городке он

обязательно видел афиши с описаниями примет разыскиваемого и суммой вознаграждения за поимку — обычно очень высокой. Ганнибал тоже был обклеен такими афишами, дети читали их по складам, еще не выучившись как следует читать.

До поры до времени Сэм соприкасался со страшными буднями рабства лишь косвенно, как сторонний наблюдатель. У причала, где он переживал свои самые счастливые мгновения в нетерпеливом ожидании пароходного дымка, вдруг появлялись скованные цепью чернокожие мужчины и женщины, плачущие, напуганные ребятишки, раздавался грубый окрик купившего их работорговца, свистел бич, и все они покорно валились на заплеванную, перемазанную дегтем землю. Это отправляли вниз по реке очередную партию живого товара, приобретенного на вчерашних торгах. А вот на полу каретного сарая, связанный по рукам и ногам, — тщательно охраняемый специально нанятыми стражниками, лежит невольник, которого после недельных поисков наконец поймали шестеро гонявшихся за ним по лесам и болотам вооруженных людей. Лучше и не думать о том, что его ждет.

О побегах рабов рассказывали удивительные истории, только большей частью с невеселым концом. Все еще было памятно имя некоего Мореля. Это был дерзкий авантюрист и редкостный негодяй — Твен впоследствии называл его оптовым мерзавцем. Морель сколотил крупную шайку таких же, как он сам, проходимцев и задумал, ни много ни мало, поднять негритянский бунт и с помощью невольников захватить Новый Орлеан. План намечалось осуществить в тот самый год, когда родился Сэм Клеменс, — в 1835 году, на рождество. Зная, как мечтают о свободе рабы, Морель подговаривал их бежать и обещал помощь. Раб, рискуя жизнью, совершал побег, а молодцы из банды Мореля через месяц-другой снова его продавали на аукционе в другом городе и говорили доверчивому негру, что вырученные деньги нужны, чтобы потом переправить беглеца на Север. Следовал новый побег и новая перепродажа, а того, кому удавалось сбежать еще раз, попросту убивали, боясь разоблачения.

Морель действовал наверняка: у него была хорошо продуманная организация, много агентов, рыскавших по всему Югу, и свои люди чуть не в каждом городке — иногда видные сановники и полицейские чины. Банда его разрослась почти до тысячи человек, причем только Морель знал все ее подразделения, опорные пункты и тайные укрытия среди непролазных чащоб в дельте Миссисипи, на пустынных островах. В конце концов Мореля схватили. За свои преступления он отделался сравнительно мягким приговором — четырнадцать лет

каторги. Легенды о нем еще долго ходили по Миссисипи. Пассажирам пароходов показывали остров 37, где, по преданию, когда-то размещался штаб этой банды.

Но были не только легенды, была повседневная жизнь, в которой раз за разом повторялись те же кровавые истории. У Сэма появился новый приятель — Том Дрискол. Он, кажется, ничем не отличался от других подростков, и они обращались с ним, как с равным, пока вдруг не выяснилось, что прапрабабушка Тома была чернокожая. Значит — по южным нормам — и сам он остается рабом, пусть в его жилах всего-навсего одна тридцать вторая негритянской крови. Про отца Дрискола в городе говорили: «Какой добрый человек, так гуманно относится к неграм и вообще к животным…»

Партия рабов ждала парохода у пристани, и один из них отошел в тень, когда было приказано лежать неподвижно. Надсмотрщик ударил его куском железа по голове. Негр умер в страшных страданиях. Сэм видел все это собственными глазами, ему было десять лет.

Как раз в это время дела у судьи Клеменса пошли из рук вон скверно, и вот у них в доме стал все чаще бывать толстяк Биб, человек, с которым по доброй воле никто в Ганнибале не связывался. Биб разбогател на работорговле. Ему давно приглянулась Дженни, служанка Клеменсов. И он своего добился. Дженни продали за пятьсот долларов.

С сыном этого Биба, Генри Бибом, Сэм постоянно дрался на улице. Генри был тупой, сонного вида, но мускулистый крепыш с низким лбом и бесцветными глазами. У себя во дворе он развлекался играми в скотобойню: мучил щенков и вешал кошек, которых приманивал кусочком мяса. И папаша его был ничем не лучше. Негров он продавал перекупщикам из самых гиблых мест в устье Миссисипи. Греб деньги, хвастался своей деловой хваткой, а сам своим клиентам платил туго. Деньги за Дженни он так и не отдал, хотя отец Сэма судился с ним из-за этих денег и выиграл процесс.

Дженни выжила на Юге. Через много лет, уже после Гражданской войны, один знакомый Твена случайно ее встретил: она работала горничной на пароходе и горько жаловалась на свою погубленную судьбу.

О неграх с фермы дяди Джона Твену не удалось узнать ничего.

Дядя Джон, живший беспечно и не задумывавшийся о завтрашнем дне, разорился, ферма пошла в уплату за долги, проданы были и работавшие на ней невольники. Так навсегда ушел из жизни Сэма Клеменса один из его лучших друзей,

дядюшка Дэн, прекрасный работник и человек удивительно щедрого сердца. Твен не мог примириться с этой утратой. На плоту вместе с Геком Финном плывет негр Джим, в котором запечатлены черты дядюшки Дэна. И он плывет к своей свободе, которой Дэн так и не узнал.

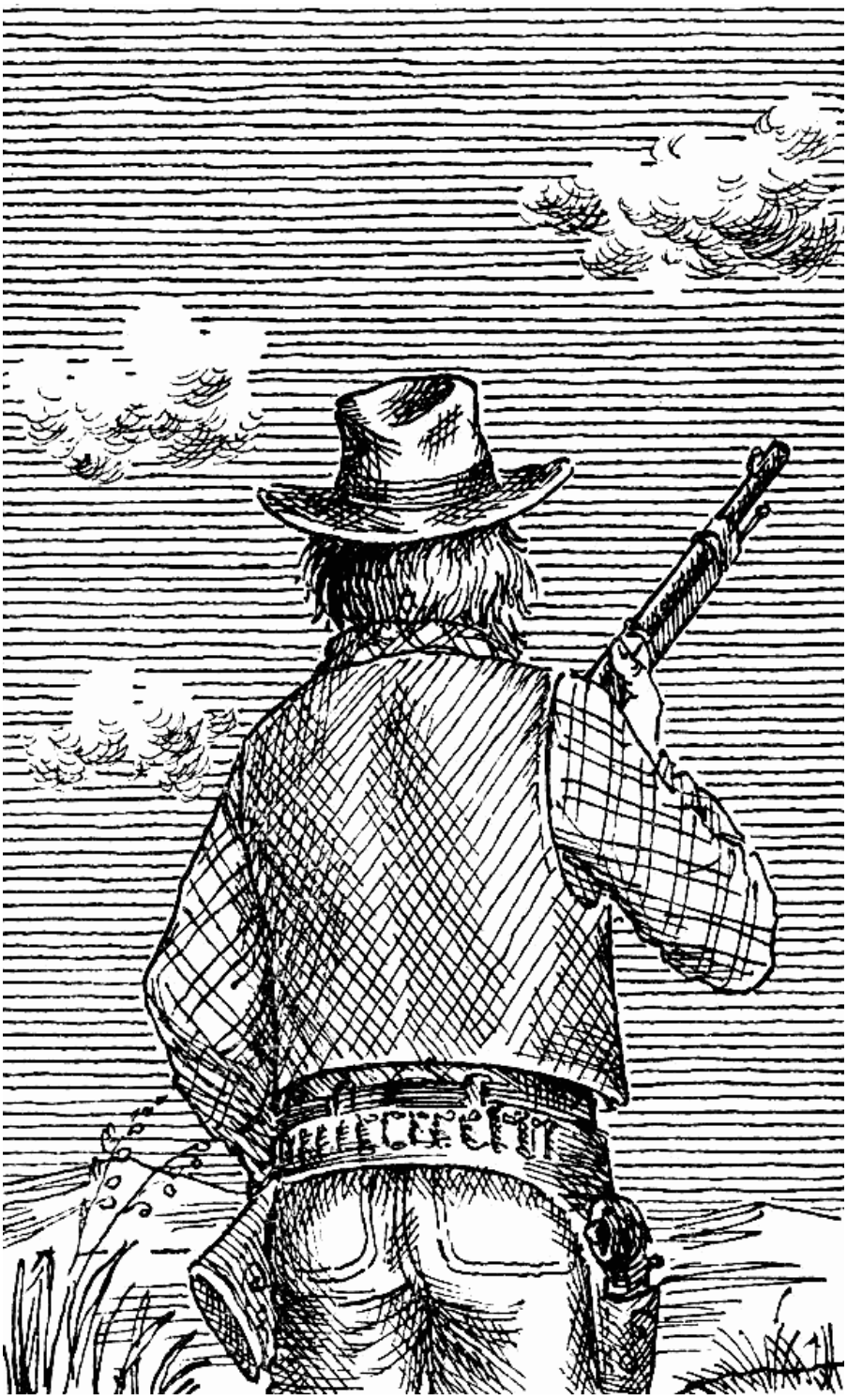
В хижине дядюшки Дэна юный Сэм, его брат Генри и маленькие кузены проводили чуть не все свои вечера. Еще и много лет спустя Марк Твен видел перед собой эту хижину так ясно, как будто побывал в ней только накануне. Потрескивают сучья в очаге, вкусно пахнут жарящиеся маисовые лепешки. Детвора — черные личики вперемешку с белыми — сгрудилась поближе к печи, отблески пляшут по стенам, а в глубине комнаты совсем темно, и кажется, в любую секунду оттуда появятся привидения или ведьмы, о которых неспешно рассказывает сам хозяин хижины, помешивая золу и чутко прислушиваясь к неясным звукам, доносящимся из ночного леса: у каждого звука свое особое значение, каждый — какая-то примета. Он коверкает слова, этот дядюшка Дэн, он не умеет ни читать, ни писать, но сколько он знает сказок, и каких интересных: и про братца Кролика, и про братца Лиса, и про призраков, и про колдунов.

Со всякой обидой, со всякой ребячьей бедой первым делом бежали к дядюшке Дэну, и всегда он умел утешить, все объяснить, всех примирить. Душа у него была простая и честная, не знавшая хитрости. Он научил Марка Твена негритянским сказкам и легендам, но главное — он его научил видеть в рабах людей, у которых свой мир и свои понятия о жизни. Своя гордость и свое достоинство. Он разбудил в Сэме Клеменсе жадный интерес к негритянскому юмору, к песням и преданиям рабов, ко всей их жизни, где было так много страдания, но еще больше — упорства и мужества, веры и не иссякающей надежды на завтрашний лучший день. Он, может быть, сделал больше всех, чтобы не привились наблюдательному и живому, как ртуть, подростку из Ганнибала ни расистские предрассудки, ни сословная спесь и чтобы окрепло в нем убеждение, что каждый, кем бы он ни родился, должен быть справедлив во всем, прямодушен, доверчив к велениям сердца и чист перед собственной совестью.

Оно, это убеждение, останется у Марка Твена навсегда.

От реки к океану

От реки к океану



Отца Сэма, Джона Клеменса, в городе все называли просто

судьей. Но судьей он стал вовсе не сразу. Немало довелось ему испытать и немало сменить занятий, прежде чем он достиг своей тихой и, казалось, надежной пристани в Ганнибале, штат Миссури.

А происходил он из другого штата, из Виргинии. Издавна виргинцев отличали суровость и легкоранимая гордость; характер Джона Клеменса был типично виргинский характер. Семи лет от роду он остался сиротой: отец помогал соседу строить дом, упало бревно и задавило его насмерть.

Учился Джон сам, как-то доставал нужные книги и сумел выдержать экзамен на адвоката. Но в адвокатах тогда мало кто нуждался. В необжитых краях на юго-западе США, где прошли молодые годы Джона Клеменса, обычно обходились без юристов: споры решали драками или при помощи посредников, выбранных из местных жителей. Джон переезжал из городка в городок и из штата в штат, заводил торговлю, прогорал и двигался дальше.

В штате Кентукки весной 1823 года он встретился с очень красивой и грациозной девушкой Джейн Лэмптон. Больше всего на свете Джейн любила танцы. Не было вечеринки, на которой бы она не блистала. Здесь, на самом краю тогдашнего цивилизованного мира, ощущалась явная нехватка невест. На вечеринках половине мужчин приходилось, повязав носовой платок на правую руку, танцевать за даму. У Джейн была длинная очередь поклонников. Всех несказанно удивило, что она выбрала некрасивого и небогатого адвоката, человека замкнутого, с суровым выражением лица и низко нависшим над губой крючковатым носом.

Говорили: Джону повезло. А сам он считал, что подлинной удачей была покупка случайно подвернувшегося огромного земельного участка в Теннесси. С детства Твен слышал бесконечные рассказы про неслыханное благоденствие, которое ждет их семью, как только начнут заселять теннессийские края. Главное, не продешевить, когда все набросятся на эти пустоши, которые таят в себе столько богатств: и корабельные сосны, лучше которых не отыскать нигде в Америке, и дикий виноград, чьи лозы тяжелее и слаще, чем у культурных сортов, и залежи каменного угля, и тучные пастбища…

Джон Клеменс не знал, что железная дорога, на которую возлагались особые упования, пройдет мимо его владений, но зато здесь найдут нефть. Это случится, впрочем, через много лет после ого смерти; участок к тому времени был давно уже продан и не принес семье ничего, кроме докучливых хлопот да чувства обманутой надежды.

Когда продажа в конце концов состоялась, Твен вздохнул с

облегчением. Его с детства угнетало «тяжкое проклятие ожидаемого богатства».

Но пока не нашлось претендентов на теннессийские земли, о богатстве не было и речи. В приданое за Джейн дали несколько рабов, включая ту самую Дженни, которую в Ганнибале купит мерзавец и жулик Биб. А у Джона не было ничего, кроме его адвокатского диплома.

Можно было, конечно, самим приняться возделывать теннессийские наделы, но отец Твена никогда не снизошел бы до того, чтобы сделаться обыкновенным фермером. И молодая семья кочевала из одного захолустного местечка в другое, пока не добралась до Флориды, где Клеменс — старший опять открыл лавку. Правда, как пишет в своих воспоминаниях Твен, его отцу и здесь «ни в чем не было удачи, если не считать того, что родился я».

Это был уже шестой, предпоследний ребенок в семье — и третий из четырех выживших. Детей таскали за собой в седлах и в повозках, перебираясь из Джеймстауна, штат Кентукки, в поселок под диковинным названием Три Притока Реки Вулф, потом в Пелл-Мелл, уже в Теннесси, и наконец во Флориду. Всюду повторялось одно и то же: покупали или наспех строили бревенчатый дом, ко входу прибивали доску, на которой было написано, что тут принимает адвокат Джон Клеменс, а также размещается магазин скобяных изделий, но не находилось ни покупателей, ни клиентов, и вновь укладывались чемоданы, и дорога вела дальше.

Только в Ганнибале отыскался более или менее сносный приют. Помог местный делец Аира Стаут. Он раздобыл для Клеменса судейскую должность и обменял с ним флоридский дом на усадьбу в сравнительно быстро растущем городке. Клеменс и не догадывался, что при этом Стаут его порядком надул. Пришлось залезать в долги. Но ведь когда-то надо было осесть, зажить по-семейному.

У ганнибальского судьи была страсть ко всяким изобретениям и проектам. То он загорался идеей пустить пароходы по речкам, которые в летнюю пору и свиньи переходили вброд, то замышлял построить железную дорогу из Флориды в крохотный пыльный городишко, кичливо именовавший себя Парижем, то в своем воображении уже разбивал пышные сады на пустошах, поросших сухой, горьковатой травой. Каждый раз, воспламенившись, он выказывал бурную активность. Но все его планы лопались, как мыльные пузыри, унося последние накопления.

Был он безукоризненно честен, щепетилен в любой мелочи,

строг, чопорен и в своих убеждениях тверже кремня. Его недолюбливали. Домашние просто боялись. Горожане предпочитали обходить стороной: завидев издалека высокую сухопарую фигуру судьи в шляпе, из-под которой до самых плеч спадали густые жесткие волосы, сворачивали в переулок. Почти никогда он не улыбался, этот педантичный и скучный человек, который не пропускал ни одного выступления наезжавших в Ганнибал ораторов по религиозным вопросам или политических бонз.

Матери Сэма, должно быть, приходилось с ним нелегко. Она была совсем другая — мягкая, отзывчивая, веселая. Если на ее глазах чинили несправедливость, она бросалась как лев восстанавливать истину и поддерживать слабых — кто бы подумал, что столько отваги скрывается в этой хрупкой и боязливой женщине! Сэм запомнил, как она стеной встала перед городским буяном, наводившим страх на весь Ганнибал, когда тот гнался по улице за своей дочерью, грозя измочалить об нее толстенную веревку.

Правда, и у нее была своя слабость: очень она любила потолковать о своем аристократическом происхождении. Но в Ганнибале происхождением не слишком интересовались. Америка была такая страна, где ценили не дворянские титулы, а практическую сметку, подкрепленную умением терпеливо переносить трудности, с твердой верой дожидаясь своего жизненного шанса и не упуская его, когда он представится. И Клемансы, и Лэмптоны пополнили быстро растущую армию переселенцев из Европы, устремившихся в просторные американские земли, чтобы успеть побольше захватить да поменьше заплатить, пока все эти сказочные богатства — поля, леса, кишащие рыбой реки — вроде бы никому не принадлежат. Где, как не здесь, самой судьбой было указано построить мир без монархов и верноподданных, без аристократов и религиозных изуверов, без нищеты и бесправия! Ведь природных сокровищ хватит на всех и каждого, и горизонт все уходит да уходит вдаль бесконечно, и ни души вокруг. Поселяйся, распахивай эту землю, снимай по осени обильные урожаи. Живи в согласии со своей верой и со своей правдой, только будь хорошим соседом таким же вчерашним горемыкам, натерпевшимся у себя в Ирландии или в Германии всяких притеснений, а тут, в Америке, наконец-то почувствовавшим себя полноценными людьми.

В 1620 году к безлюдным скалам на Северном Атлантическом побережье прибыл корабль, романтично называвшийся «Майский цветок», а еще тринадцатью годами раньше было основано первое английское поселение в Виргинии, родном штате Джона

Клеменса. Так началась история новой страны. Соединенными Штатами Америки она стала именоваться после революции 1776 года и ожесточенной войны с англичанами, продолжавшейся долгих семь лет. Вот тогда-то и хлынул в эту молодую страну широкий поток переселенцев чуть не из всех уголков Европы.

По большей части это были бедствующие крестьяне и ремесленники или разоренные непрерывно бушевавшими в Старом свете войнами торговцы да обедневшие мелкопоместные дворяне. Корабли из Гавра и Дувра прибывали в Бостон и Нью-Йорк один за другим, и на каждом непременно каюты и трюмы были битком, набиты искателями удачи, прихватившими с собой из покинутого дома семейную Библию, несколько самых нужных инструментов, проржавевший от старости мушкет и смену белья. Впереди ждала неизвестность. Но они ехали. На юге обосновались бывшие французы, на севере — вчерашние англичане и ирландцы.

В приморских больших городах они обычно не задерживались, приобретали повозку и двигались дальше, в глубь страны. Никто толком не мог бы сказать, где эта страна кончается, — десятилетиями шли на запад, пока не открылся перед глазами путников другой, Тихий океан. В самом начале прошлого века у Наполеона американским правительством была куплена необозримая территория Луизианы. Наполеон воевал, ему требовались деньги. Пространство, на котором размещается чуть ли не треть нынешней Америки, он уступил за смешную цену в пятнадцать миллионов долларов.

Вскоре по всей этой территории уже прокладывали первые борозды запряженные мулами телеги новоприбывших претендентов на участки. И среди них — фургоны Клеменсов и Лэмптонов, покинувших свои уютные виргинские обиталища. Подобно тысячам других, обе эти семьи проделывали обычный маршрут, все дальше уходя от обжитых, цивилизованных мест. Лет через двадцать пути их пересекутся в Кентукки.

Что было проку кичиться друг перед другом, чьи предки сановитее! Вокруг лежал особый мир — фронтир. Так называли границу, за которой кончались края, где жизнь была уже более или менее налажена, и открывались просторы, еще никогда не видевшие белых людей. Эта граница не была постоянной. Вместе с колымагами переселенцев и лагерями лесорубов, вместе с военными отрядами и мечтателями о легкой поживе она все время двигалась на запад, к Тихому океану.

Историки считают, что фронтир окончательно исчез лишь в самые последние годы минувшего века, когда понастроили городов на всем протяжении политого потом переселенцев пути

от Нью-Йорка до Сан-Франциско в Калифорнии. Формально так оно и есть. А по сути атмосфера фронтира стала быстро пропадать еще раньше, сразу после Гражданской войны — войны Севера и Юга, — завершившейся в 1865 году. Тогда закончилось строительство железной дороги от одного океанского берега до другого. Теперь можно было с комфортом пересечь Америку за каких-нибудь десять дней. Прежде такое путешествие отнимало несколько недель и было небезопасным.

В годы детства Сэма Клеменса фронтир пролегал где-то посередине современной Америки, у больших озер Мичиган и Эри, вдоль Миссисипи. Начиналось освоение Техаса. Там были великолепные пастбища. Техас, как и Калифорния, Невада, Колорадо, Юта, считался владением Мексики. Но скотоводам-американцам невыгодно было мексиканское управление. Они подняли мятеж, объявили Техас независимым, а потом, в 1845 году, добились его присоединения к США. Решено было округлить западные границы; воспользовавшись пустяковым предлогом, Америка напала на Мексику, и в результате грабительской войны, продолжавшейся неполных три года, все пространство от Миссисипи до Тихого океана отошло под американский флаг.

И снова двинулись в новые края скрипучие телеги переселенцев, целые поезда, растягивавшиеся на несколько километров. Ганнибал словно ожил, стряхнув с себя дремотное оцепенение. Здесь делали последнюю остановку перед переправой через Миссисипи. Недельку-другую готовились к трудной дороге, чинили снаряжение и упряжь, покупали сухари, сахар, соль и, наконец, трогались в путь — за счастьем.

Скольких ожидало на этом пути не счастье, а разорение, крах мечты и ранняя смерть от непосильных нагрузок! Но переселенцам некогда было задумываться о подстерегавшей их опасности. Были среди них и настоящие романтики-первопроходцы, а еще больше было таких, кому не терпелось захватить землю, пока их не опередили конкуренты. Поэтому, напрягая последние силы, они рвались на запад, все дальше и дальше. А по обочинам дорог тянулись скелеты мулов и волов да одинокие могилы, заваленные камнями, чтобы койоты не вырыли костей…

Странная это была жизнь. Со всех сторон обступали лагеря путников непролазные чащобы и болота. Высоченные Скалистые горы с их крутыми снежными пиками вставали на тропе непреодолимой преградой. А те, кто сумел взять эту преграду, видели перед собой бескрайнюю степь, прерию, до самого горизонта поросшую кустами полыни — единственным топливом,

какое здесь можно было найти.

По ночам бродили вокруг стоянок хищники, и никто не рискнул бы отойти на десяток шагов, не прихватив с собою ружья. Жили прямо в фургонах или ставили палатки, в которых летом задыхались от зноя, а осенью дрожали от холодов. Зимовать приходилось прямо там, где застал первый снегопад, и, как грибы после дождя, росли городки, поселки, деревни, порой состоявшие из двух-трех недолговечных домов.

На фронтире всех сплачивала одинаковая судьба. И требовалось от каждого не так уж много: твердость духа, смекалка, сильные руки. Других фронтир не принимал. Неженки да нытики не выдержали бы тут и месяца.

Каждый день был заполнен тяжелой работой и суровой борьбой с дикой, неподатливой природой. Природа казалась чудесной, и сами будни фронтира тоже были чудесными, полными невероятных опасностей, неожиданностей, трудностей, о каких и не подозревали, пускаясь в дорогу. На фронтире родились американские сказки и легенды. И почти во всех них прославляются мужество и сообразительность, рассудительность и хитрость. Без таких качеств переселенцу было не обойтись. Обступавший его мир выглядел громадным, таинственным и пугающим. Истории, которые рассказывали на фронтире, заполнены этим ощущением простора, который резко укрупняет любую деталь, придавая черты необычности, величественности и событиям, и людям.

В этих историях все «не по правилам»: герои попадают в немыслимые ситуации, их окружают диковинные вещи, они должны прямо на месте прилаживаться к совершенно невозможным обстоятельствам, поминутно попадая впросак, весело, залихватски вышучивая самих себя, но никогда не теряя присутствия духа и уверенности, что нет на свете ничего такого, с чем бы не справился человек, вышколенный фронтиром.

Позднее подобные истории начнут называть рассказами-небылицами. Это и в самом деле небылицы, только такие, где фантастика и реальность перемешаны до неразличимости, а в чудовищных преувеличениях все равно чувствуется доподлинная правда. Юмор для них обязателен — несдержанный, грубоватый, какой-то дикий, если судить по обычным меркам. Но на фронтире было не до изысканных норм этикета, а истории сочиняли и рассказывали люди, не слишком искушенные в литературных приемах. Они просто повествовали о жизни, какой ее видели изо дня в день. И, сами того не зная, создавали литературу чисто американскую, не похожую ни на одну другую литературу в мире, хотя пройдет не так уж мало времени, прежде чем эти рассказы

будут записаны и изданы в книжках.

У Марка Твена тоже очень много таких вот рассказов-небылиц. Он их наслушался еще ребенком — от матери, от ее кузена Джеймса Лэмптона, необыкновенного выдумщика и враля, от многих людей, осевших в Ганнибале, но словно бы все еще живших там, на фронтире, где прошли их лучшие годы. Да и сам Ганнибал тогда еще был типичный городок фронтира. Граница, правда, отодвинулась далеко к тихоокеанским берегам, но нравы и понятия фронтира держались по всей Миссисипи еще долгие годы.

И Сэму нетрудно было представить себе, как тащились через леса и степи караваны, которыми добрались до этих мест его родители, и дядя Джон, и дядя Джеймс Лэмптон. Как на привалах рассаживались вокруг костров и слушали занятные истории про знаменитого лесоруба Поля Баньяна, который как-то сварил себе на ужин целое озеро ухи, или про речного разбойника Майка Финка и его легендарное ружье, называвшееся Всех Застрелю. Как ковбои в Техасе пили кофе с сороконожкой, как Фиболд, первый фермер в Небраске, переженил гусей с акулами — и получились летающие рыбы, как ночевал у медведя в берлоге и мирно с ним беседовал Джонни Яблочное Семечко, странствовавший всегда в одиночку и всюду разбивавший сады.

Наделенный пылким воображением, Сэм вполне отчетливо видел, как, решив перезимовать в какой-нибудь лощине, где есть дрова и вода, пионеры строят и укрепляют новый поселок, как играют в нем свадьбы — рвутся к небу бешеные звуки волынок, подрагивает под расходившимися каблуками земля на плацу, куда собралось все население, кто-то уже свалился и спит под фургоном, на досках грубо сколоченного стола режут необъятных размеров черничный пирог, туши оленей и антилоп дымятся над жарко пылающими кострами, — как зимними вечерами ревут в хлеву мулы, почуявшие приближение медведя, а по весне проводит первую борозду плуг и грачи слетаются проводить пахаря почетным эскортом. Он переносился душой в эти совсем недавние времена, и романтика кружила ему голову; господи, чего бы он не отдал, только бы хоть неделю-другую самому пожить этой необыкновенной и увлекательной жизнью!

Тогда он еще очень многого не знал. Ему не говорили, что среди переселенцев то и дело вспыхивали раздоры и в ход немедленно шли ножи, а то и ружья. Ему не рассказывали ни об эпидемиях, косивших целые поселки пионеров, ни о тяготах их пути, помеченного столькими безвестными захоронениями, ни о гнилой муке, червивой солонине, мошенниках губернаторах, обиралах шерифах. Откуда ему было знать, что, например, в

Канзасе, где к середине века был самый центр фронтира, уже много лет враждуют два скотоводческих клана, угоняя друг у друга табуны и калеча, отравляя стада, соперничая в искусстве поджогов и жестокостях расправ, а правительство ничего не может да и не хочет с ними поделать?

Про индейцев тоже большей частью молчали или изображали их кровожадными дикарями, только и норовящими подстеречь переселенца в глухом местечке и вырезать его семью. Но все это была неправда. Земли в Америке хватило бы всем, даже с избытком, но пионеров обычно привлекала как раз та земля, которая уже была занята ее настоящими хозяевами — краснокожими. А значит, краснокожих надо было истребить, чтобы забрать себе их угодья и пастбища. Поначалу индейцы встречали белых людей приветливо, но ответом на их радушие оказалась жестокость.

Вот как описывает бой с индейцами один из его участников; дело происходит в 1811 году в штате Теннесси. «Мы их погнали до самой деревни, а на пороге вигвама сидела старая скво и держала в руках лук. Она его натянула изо всех сил и выпустила стрелу, которая попала прямо в кого-то из наших, убив его наповал. Эта смерть нас так разъярила, что мы дали по старухе залп из двадцати ружей, разорвав ее в клочья. А потом мы стали стрелять всех подряд, как собак, зажгли вигвам и спалили его дотла, а в нем сидело сорок шесть воинов. Какой-то мальчишка кинулся к горящему вигваму, и его мы тоже подстрелили. Он свалился со сломанной ногой и пробитыми руками, на нем горела одежда, а он все полз к порогу. Мы не услышали от него ни стона, хоть было ему и всего-то лет двенадцать. Индейцы сильно гордый народ, и уж коли затронута их гордость, они скорей помрут, чем запросят пощады».

Это пишет Дэви Крокет, прославленный герой фронтира — о нем сложено много легенд. Особой грамотностью он не отличается, но свои понятия выражает откровенно, без утайки. Обычные понятия людей фронтира: индеец виноват уже тем, что не хочет отдать землю, на которой живет, а белый, пусть даже и сжигая индейцев живьем, всегда прав, потому что он белый.

У Крокета был пистолет, не знавший промаха, его отличали холодная голова и бесшабашный нрав. В иных ситуациях он умел проявлять и великодушие, и чувство справедливости — за это его и любили, выбрали депутатом в Конгресс, передавали из уст в уста рассказы про его доблесть. Только куда девались все эти прекрасные качества, когда Крокет сталкивался с индейцами! Здесь он становился свиреп и беспощаден, да еще хвастался жестокостями, о каких другой постарался бы по крайней мере не

вспоминать.

Индейцы ушли в глухие леса, жили впроголодь, вымирали целыми племенами, но упорно отказывались работать на поработителей. С ними приходилось постоянно быть начеку — в тех областях, которые примыкали к фронтиру, атмосфера оставалась накаленной. К тому же сюда, скрываясь от властей, бежало множество уголовников и казнокрадов. На фронтире не заглядывали в их прошлое, кое-кто из них стал здесь шерифом, или налоговым инспектором, или даже мэром какого-нибудь новоотстроенного городка.

Однажды по пути в Неваду — это было уже в годы Гражданской войны — Твен завтракал в обществе некоего Слейда, личности по-своему знаменитой. На совести Слейда было двадцать шесть убийств, никто не хотел стать двадцать седьмым в этом списке. Такое могло произойти с кем угодно. Не тратя лишних слов, Слейд рассчитывался с обидчиками при помощи револьвера.

В юности он совершил убийство и удрал от правосудия на фронтир. Тамошнее начальство оценило его крутой характер и знание повадок всяких головорезов. Слейда назначили кондуктором дилижанса, перевозившего пассажиров и почту по здешнему единственному тракту, который давно облюбовали бандиты. Он быстро с ними расправился и пошел в гору. Через год-другой не было во всей округе человека могущественнее, чем Слейд.

Никакого намека на законность в этих местах не существовало. Убивали непрестанно, и считалось, что так и нужно улаживать любое недоразумение. По местному кодексу чести свидетели должны были помочь убийце ликвидировать следы преступления, не то самих свидетелей отправляли на тот свет. Забрав власть на своем участке, Слейд собственноручно вешал и расстреливал грабителей, а заодно сводил счеты со старыми противниками. Его предшественник, смещенный с поста начальника дороги, скрывался в предгорьях, пока не был изловлен подручными Слейда, который не без удовольствия выполнил функции и судьи, и палача. Рассказывали, что перед похоронами он отрезал покойнику уши и имел обыкновение носить их с собой в кармане.

Слейд царил на перегоне несколько лет. Он врывался в дома чем-нибудь ему не понравившихся людей, выбрасывал на улицу их обитателей и всячески над ними измывался. День для него был прожит зря, если не произошло очередной перепалки, заканчивавшейся либо поспешным бегством врага, либо поножовщиной. Но кончил он плохо. Доведенные до озлобления

выходками Слейда, рудокопы с окрестных серебряных рудников объединились в большой отряд. Слейда схватили и повесили, постаравшись соблюсти законную процедуру: был выбран суд и оглашен приговор. Для невадцев это было в диковинку. Там признавали только закон силы.

Такой вот была реальная жизнь фронтира, которую Марк Твен еще успел повидать и у себя в Ганнибале, а потом на Миссисипи и в Неваде. Много было в ней грязи и насилия, много тягот и лишений, разочарований и обид на судьбу. Но было и другое.

Пионерам все предстояло начинать заново, все делать самыми первыми — прокладывать пути, строить поселки, распахивать поля и налаживать такие отношения друг с другом, когда героем становится тот, кто проявил особую отвагу и особое хладнокровие в нелегких испытаниях, а не тот, кто унаследовал знатность и богатство. Эти отношения так и не наладились: фронтир уходил на запад, а там, где недавно стеной стояли девственные леса, уже бурлила привычная для Америки деляческая суета и господствовали алчность, коварство, обман. И уже слабела память о том, что когда-то пионер был человеком свободным, независимым, самостоятельным — сам устраивал свою жизнь, не оглядываясь на нормы расчетливости да скопидомства, не прислушиваясь к голосам, твердившим с амвона о греховности и огненной геенне. Но остался юмор фронтира, присущий ему здравый смысл, отличавшее его людей стремление жить в согласии с природой, в самих себе сохраняя естественность и свободу, которые пленяли переселенца, как только он оказывался в привольных западных краях.

И в книгах Марка Твена будет долго храниться отблеск этой мечты о том, какой полнокровной, радостной, человечной могла бы стать жизнь, если бы люди в его стране остались такими, какими когда-то были на фронтире — находчивыми и энергичными, добрыми и смелыми, чуточку хвастливыми, подчас смешными, но зато по-настоящему свободными. Пройдет время, и он убедится, что это всего лишь мечта, несбыточная в реальных американских условиях, да и сам фронтир предстанет перед ним без романтической дымки, затуманивающей истину. Тогда к его жизнерадостному смеху все чаще начнут примешиваться ноты горечи, раздражения, отвращения. Развеется иллюзия, которой он так долго доверял.

Только все это произойдет еще очень и очень нескоро.

А сейчас он школьник Сэм Клеменс, самый непоседливый и живой сорванец во всем почтенном Ганнибале. Ему четыре с половиной года. Сегодня его в первый раз привели к миссис Горр,

которая учительствует в скособоченном домике на южном конце Главной улицы. Чудесный день ранней осени. В открытое окно хорошо видна Кардифская гора, где так славно поиграть в прятки.

Скрипят перьями ученики, ветерок перелистывает страницы тетрадок, ровно, как гудение шмеля, звучит голос самой миссис Горр, читающей вслух из Евангелия. «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего… И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои… Просите, и дастся вам…»

Что, что? А может, взять да и попросить? Вон у Маргарет, дочки булочника, прямо на парте лежит большущий имбирный пряник. И Маргарет как раз смотрит в сторону. Молитва наскоро сотворена, и пряник уже в руках у Сэма. Как быстро вняли его просьбам на небе! Пожалуй, стоит попросить еще чего-нибудь.

Потом его перевели во вторую ганнибальскую школу. Эту школу теперь хорошо знают во всем мире, потому что Твен ее описал в «Приключениях Тома Сойера». Преподавал в ней мистер Доусон, учивший всем предметам сразу. Ученики сидели все вместе в одной просторной комнате: старшему из них было двадцать пять лет, младшей — семь. Уроки готовили прямо в школе; наспех вызубрив задание, Сэм только и дожидался удобной минуты, чтобы улизнуть со своим лучшим другом Уиллом Боуэном, сыном местного пожарного начальника, на пристань, где их уже поджидал Том Блэнкеншип, отроду ничему не учившийся переросток, который щеголял в драных панталонах, доходивших ему прямо до подбородка, и чуть не круглый год разгуливал босиком.

Правда, на третий год Сэм начал иногда задерживаться в школе, даже сделав все уроки. Дело заключалось вот в чем: появилась новая ученица, у которой были тяжелые золотистые косы и глаза цвета небесной лазури. Мальчишки дрались за честь проводить ее из школы домой. Имя ее было Энн Лори. В «Томе Сойере» ее зовут Бекки.

У мистера Доусона был обычай по пятницам выдавать лучшим ученикам медали за старание и успехи. На одной медали было написано «Вежливость», на другой — «Правописание». Первую всегда получал Джон Робардз, золотушный и до приторности благовоспитанный тихоня, которого Сэм ненавидел всей душой. А вторая медаль неизменно доставалась Сэму. Иногда для разнообразия они менялись с Джоном своими бляшками. Учитель возмущался: ну кто же не знает, что Робардз и собственное имя пишет с ошибками, а Клеменса следовало бы сечь каждый день за его острый язык и скверные манеры!

Зато писал Сэм бегло и правильно. Но совсем не дорожил этим своим талантом. Энн Лори очень хотелось тоже получить

медаль, и как-то Сэм нарочно пропустил букву «р» в слове «февраль». Да ради Энн он бы пропустил все буквы на свете, только бы провожать ее каждый день.

Школа его вовсе не интересовала. А скоро с нею пришлось распрощаться навсегда.

В марте 1847 года отец Сэма сильно простудился, по служебной надобности проскакав под ливнем со снегом в Пальмиру, центр округа. Началось воспаление легких, и через несколько дней он умер. Дела судьи Клеменса к этому времени были вконец расстроены. Тот самый Аира Стаут, который способствовал его переезду в Ганнибал, просто душил судью векселями, предъявляемыми к оплате.

Чтобы избавиться от долгов, потребовалось продать не только дом, но даже посуду и постельное белье. А Сэм ушел из школы, поступив рассыльным к типографу Аменту, который издавал жалкий листок, по недоразумению называвшийся газетой. Денег Амент не платил, но предоставлял своему двенадцатилетнему мальчику на побегушках жилье и стол, а время от времени дарил ему старое рванье, которое отказывались носить его собственные дети.

Рабочий день Сэма начинался с зарей. Надо было убрать помещение, разжечь печь, принести из колодца воду. Затем, еще до завтрака, смазать печатный станок и приготовить бумагу. Листок выходил раз в неделю, по четвергам. Сэм спозаранку пускался в путь, доставляя газетку сотне ее подписчиков.

Кормили у Аментов неизменной тушеной капустой, хлеба отрезали один кусочек. Хозяйка дома за трапезой не спускала глаз с сахарницы: упаси боже, кто-нибудь бросит в стакан лишнюю ложку! Ночами Сэм воровал из погреба лук и картошку, варил похлебку в укромном уголке типографии. Порой, не выдерживая, он сбегал; миссис Клеменс заставала его спящим мертвым сном на кухонном полу.

Старший брат Сэма, Орион, надумал издавать собственную газету — «Юнион». Подписчики платили кто чем мог, стол редактора был завален репой и мануфактурой, а если человек приносил деньги, на него смотрели как на чудака.

В «Юнион» состоялся литературный дебют Сэма. Он описал пожар, вспыхнувший в подвале редакции средь бела дня, и небрежную храбрость местного щеголя Джима Вейлса, который проходил мимо и помог потушить разбушевавшийся огонь. Автору не исполнилось еще и шестнадцати лет.

Скоро газета Ориона обанкротилась. В Ганнибале делать было нечего, и в одно прекрасное утро Сэма Клеменса увидели с тощим саквояжем в руках на пристани, к которой приближался

пароход, идущий на Сент-Луис. Пройдет тридцать шесть лет, прежде чем он снова посетит свой родной городок. Но Ганнибал останется с ним навеки, чтобы снова и снова оживать на страницах, подписанных именем Марка Твена.

В Сент-Луисе он случайно прочел об экспедиции лейтенанта Херндона по Амазонке и Андам: снежные пики гор, а у подножий — кокосовые рощи, банановые деревья, прогнувшиеся под тяжестью плодов, сказочная роскошь тропиков. Он непременно, непременно увидит все это своими глазами. Сэм добрался до Нового Орлеана. Там ему сообщили, что ближайший рейс в Бразилию будет лет через пятнадцать, а может, и позднее.

На пароходе он свел знакомство с лоцманом Хорэсом Биксби. Больше в Новом Орлеане он никого не знал и, потолкавшись в доках, отправился к Биксби с просьбой взять его на выучку. Столковались на том, что Сэм станет «щенком» у Биксби и будет с ним плавать, пока не овладеет профессией, а впоследствии отдаст за эти уроки пятьсот долларов из своих заработков. Так состоялось его посвящение в речники. Он и через много лет будет благодарить судьбу за то, что оно произошло. «Поистине все на свете суета сует, кроме лоцманского дела».

А между тем это было трудное и опасное дело. По всей реке — от Нового Орлеана до Кеокука, в самых верховьях, — тогда не было ни единого маяка. Корабли шли и днем, и ночью, и в паводок, и в мелководье, и в солнечную погоду, и в непроглядный туман. Катастрофы были обычным явлением. Давали течь трюмы, рвались котлы, а газеты печатали длинные списки погибших.

Однажды в таком списке Сэм прочел имя своего младшего брата Генри. У Корабельного острова под Мемфисом взорвалась «Пенсильвания» — пароход, на котором Сэм плавал помощником лоцмана до этого злополучного рейса. Генри отшвырнуло взрывной волной на добрых полсотни метров, но он поплыл назад, спасать барахтавшихся среди обломков, и глотнул полные легкие горячего пара.

Были на реке особенно коварные места: Шляпный остров, где пошло ко дну чуть не три десятка пароходов, Ореховая излучина, цепочка подводных камней, известная под названием Старая наседка с цыплятами. Владельцы не слишком заботились о безопасности плавания, пароходы строили второпях, а котлы не испытывали — некогда. Других дорог, кроме речной, в ту пору не существовало, пассажиров и грузов становилось с каждым годом все больше, и пароходные компании процветали: гребли деньги лопатой, а на остальное им было наплевать.

Лоцманам, правда, платили хорошо. Да и как иначе? Ведь лоцман был на реке первой фигурой. На всем пути

протяженностью в тысячу триста миль[4] лоцман должен был знать назубок каждую отмель, каждый опасный поворот, каждое незримое препятствие. Память ему требовалась феноменальная: какой-нибудь неприметный пригорок или дерево, одиноко растущее на берегу, служили незаменимым указанием — вот сразу за этим пригорком два года назад затонула баржа, а прямо против этого дерева начинается длинная подводная скала. Клади руля влево, не то самый надежный пароход пропорет брюхо, и тогда уж ничто не поможет.

Мудреной наукой судовождения Твен овладевал несколько лет. Настал наконец день, когда он сам ушел в рейс лоцманом. Он полагал, что его призвание определилось. Но в апреле 1861 года под фортом Самтер в Южной Каролине прозвучали первые залпы начавшейся Гражданской войны. Пароходы были тут же реквизированы воюющими сторонами. Навигация по Миссисипи прервалась на четыре военных года.

Никогда больше он не встанет за штурвал. После войны через прилегающие к Миссисипи штаты провели железную дорогу, придумали буксир, способный тянуть за собой сразу десяток барж, появились постоянные бакены, и лоцманское дело пришло в упадок. Для Твена оно останется самым прекрасным занятием на свете. И он будет писать о лоцманах, о пароходах, о реке с такой нежностью, какую способно пробудить лишь самое дорогое воспоминание в жизни.

Да так и должно было быть. На реке прошли его лучшие годы. И кроме того, во времена его юности лоцман, быть может, оставался единственным по всей Миссисипи по-настоящему свободным человеком. Он никому не подчинялся и ни от кого не зависел. Он был всегда в пути, его горизонт не замыкало монотонное однообразие повседневного житья-бытья в каком-нибудь богом забытом Ганнибале.

Перед ним проходила во всех своих контрастах живая жизнь, и, вглядываясь в ее бесконечно изменчивые облики, лоцман лучше всех других мог судить о том, где в этой жизни правда и где ложь, где величие, а где уродство, где истина, где — заблуждение.

Очень разные люди были эти лоцманы, но что-то объединяло их всех. Наверное, понимание, что лоцман обязан покинуть тонущее судно последним. О катастрофах они не любили вспоминать, зато сколько было разговоров о коварстве реки, о меняющемся русле, ураганах, вызывавших оползни и разрушения по берегам, обмелениях, разливах, штормах. О капризах пассажиров, требовавших среди ночи подвести судно точно к тому пустынному месту, где их ожидал высланный из дома кучер-

негр. И о разных смешных случаях, помогавших переносить тяготы лоцманского ремесла.

Подшучивали над неопытностью «щенков» и их нелепыми промахами, обычными, пока «щенок» не привыкнет к службе. Посмеивались и над патриархом лоцманов Селлерсом, которого почтительно и иронически называли «наш праотец». Селлерс провел первый пароход по Миссисипи; это было очень давно, еще в 1811 году. Теперь он жил на покое в Новом Орлеане и время от времени пописывал статейки, в которых повествовал о различных происшествиях на реке, пересыпая свои рассказ глубокомысленными заключениями и назидательными советами. Торжественный стиль его заметок вызывал дружный хохот лоцманов. Их смешила даже стоявшая под этими статьями подпись: «капитан Селлерс». Ведь на самом деле вся власть на корабле, пока не закончится рейс, принадлежала лоцману. А капитан лишь распоряжался погрузкой да выгрузкой.

Капитанами обычно бывали неотесанные парни, любившие изображать бывалых людей. Они соперничали друг с другом в виртуозности ругани и отличались на редкость зычными голосами. Лоцманы знали толк в искусстве изысканного разговора, одевались с подчеркнутой строгой простотой и держались достойно, как боги.

Для жителей Теннесси, Миссури, Луизианы они и впрямь были богами. С Гражданской войной все это кончилось — и исключительное положение, которое прежде занимал лоцман, и его независимость, и полная опасностей, но все равно прекрасная романтика его ремесла. В затяжной кровопролитной схватке Север одолел. Юг и начал наводить на поверженном Юге свои порядки: строить, производить, торговать… Жизнь переломилась, и лоцманская вольница ушла в предания.

В 1882 году, когда уже был напечатан «Том Сойер» и имя Марка Твена узнала вся читающая Америка, он предпринял поездку по местам своей юности. На реке все переменилось, она опустела и словно замерла. Можно было плыть целый день и не увидеть ни одного встречного парохода. Состарившиеся лоцманы доживали свой век, вспоминая былые времена.

А Твену все казалось, что вот сейчас, за ближайшим поворотом, река опять откроется такой, какой она когда-то была. И снова он увидит длинные плоты с шалашом посредине, где отдыхают мускулистые, загорелые сплавщики, и вереницы угольных барж, и торговые баркасы, и мелкие шлюпки, идущие на веслах, — фермерская семья отправилась в гости к соседям, — и веселую суету у пристаней, и высокие столбы черного дыма из пароходных труб. Услышит перепалку помощника капитана с

пассажирами, столпившимися на трапе, визг лебедок, поднимающих на борт мешки с зерном и кипы хлопка, свист пара, вырывающегося из клапанов. Вернется в тот мир, который ушел навсегда вместе с его молодыми годами и навсегда сохранил для него обаяние свободной и радостной жизни.

* * *

Свой последний рейс он выполнял вверх по реке, к Сент-Луису. С берега пароход обстреляли. На причале в Сент-Луисе почти все мужчины были вооружены.

Гражданская война расколола Америку пополам. Южная Каролина и еще шесть южных штатов объявили себя независимыми от американского союза и образовали конфедерацию. Они поклялись, что не допустят отмены рабства, чего добивался новоизбранный президент страны Авраам Линкольн.

Штат Миссури, где был расположен родной Твену город Ганнибал, поначалу хотел остаться в стороне от конфликта. Но правительство, опережая южан, ввело в штат Миссури свои войска. Тогда губернатор штата призвал к сопротивлению. Повсюду стали возникать отряды ополченцев, называвших себя милицией.

Твен в эти дни находился в Ганнибале. Ночью человек пятнадцать парней, с которыми он еще недавно играл в пиратов, собрались в укромном местечке, выбрали капитана и образовали военное подразделение. Твен был назначен лейтенантом. Отыскали старинные ружья, кинжалы и сабли. А под утро выступили в поход.

Почему Твен решил сражаться на стороне плантаторов-южан? Он, наверное, и сам бы не смог ответить вразумительно. Выросший среди негритянских ребятишек, страстно почитавший дядюшку Дэна и с детства ненавидевший работорговцев да надсмотрщиков, он бы должен был, кажется, всем сердцем откликнуться на благородный призыв Линкольна покончить с рабством, этим позором Америки. Но в ту пору он был совсем молод и не слишком задумывался над собственными поступками. Ему показалось, что северяне своим вторжением глубоко оскорбили родной ему штат. Все вокруг кричали о попранной независимости Миссури, ни о чем другом. И Твен поддался этому угару глупой патриотической воинственности.

Свою армейскую службу он потом вспоминал как сплошную комедию, лишь под самый конец принявшую другой, жестокий

оборот. Ганнибальские ратоборцы дали отряду пышное имя «Всадники из Мариона» — так назывался округ, включавший в себя Ганнибал. Всадники — пока что на своих двоих — отправились к близлежащей деревушке и там расположились на постой в ожидании врага. Фермеры встречали их с распростертыми объятиями, щедро кормили, снабжали мулами и лошадьми да произносили высокопарные речи о священном долге и отпоре врагу. Но враг что-то не появлялся, и война до поры до времени выглядела для новоявленных воинов лишь забавным приключением.

Разбив лагерь на берегу лесного ручья, с утра до ночи купались, ловили рыбу и уплетали грудинку, которую так вкусно готовят по-деревенски. Правда, в амбарах, где всадники устраивались на ночь, было полно крыс; в них швыряли кукурузными початками, промахивались, будили соседей, и начиналась драка — кровь лилась из расквашенных носов, но это была единственная пролитая кровь.

Раз в два-три дня прибегал с какой-нибудь фермы негр, чтобы сообщить, что приближается неприятель. Тогда поспешно снимались с места и производили отступление — все равно куда, только не навстречу противнику. Один фермер, приютивший их после подобного маневра, заметил, что ганнибальская армия воистину непобедима — ни у какого правительства не хватит денег на подметки своим солдатам, если оно вздумает преследовать рыцарей из Мариона.

Но однажды заржавленные винтовки все-таки вступили в дело. Твен с пятью своими товарищами стоял в дозоре на развилке дорог. Была лунная ночь; из лесу выехал всадник, раздался залп, и человек свалился на землю. Стрелявшие бросились к нему — он был в штатском, не имел при себе оружия и что-то лепетал о своей жене и ребенке. Жгучий стыд и раскаяние испепелили душу Твена. В эту минуту он бы немедля расстался с собственной жизнью, если бы такой ценой удалось воскресить погибшего.

А на следующий день стало известно, что из Сент-Луиса вышел целый полк северян под командованием Улисса Гранта — искусного военачальника, который потом станет во главе правительственных войск и после войны будет избран американским президентом. С Грантом шутки были плохи; посовещавшись, решили объявить о самороспуске отряда и двинулись по домам.

На этом война для Твена закончилась. Он твердо решил, что больше не будет убивать незнакомых людей, которые не сделали ему никакого вреда. И, сложив чемоданы, отправился вместе со

своим братом Орионом на Дальний Запад, в Неваду.

Тогда Невада еще не получила права штата — она именовалась территорией и участия в войне не принимала. Ориону Клеменсу выхлопотали должность секретаря губернатора этой территории, а Сэм стал секретарем секретаря. Будущие служебные обязанности его не волновали, зато дразнили воображение россказни про богатства, которые валяются в Неваде прямо под ногами. Вскоре после того, как Неваду бесцеремонно отобрали у мексиканцев, там было найдено серебро. И тут же авантюристы со всей Америки начали съезжаться в эти дикие края на поиски удачи.

Путь туда был долгий и трудный. Две недели приходилось трястись на почтовых мешках по тракту, где заправляли лихоимцы, по которым давно плакала виселица. Вокруг, насколько хватало глаз, лежали солончаки. Каждые полсотни миль попадалась станция — приземистые домики из бурого кирпича под соломенными крышами, трактир, где на земляном полу стоял открытый мешок муки и валялось несколько кофейников, которые никогда не мылись. Ели на засаленных досках колченогого стола, окруженного свечными ящиками, заменявшими стулья. Смотрители и служащие спали тут же, на прогнивших тюфяках, и никогда не расставались с испытанным кольтом.

Вот в какие места занесла судьба Сэма Клеменса, уже открывшего в себе писательский дар, но пока не помышлявшего сделать литературу своей профессией. Он, как все, намеревался в Неваде быстро разбогатеть, напав на плодоносную серебряную жилу, и облачился в потрепанную шляпу, синюю шерстяную рубаху и грубые рабочие брюки, заправленные в сапоги. На службе делать ему было нечего, жалованья он не получал, но не расстраивался — найти бы богатую залежь, ведь другим удается. С утра до ночи рыскал по окрестностям старательской столицы Вирджиния-Сити, ставил заявки, промывал грунт, убеждался в ошибке и, что ни день, просыпался с твердой надеждой, что уже нынче-то ему непременно повезет.

Про любимчиков фортуны рассказывали на каждом углу. Кое с кем из них Твен был хорошо знаком. Обычно это были люди грубоватые, кичливые и на удивление невежественные. Они привыкли действовать подкупами и взятками, жульничали и водили за нос доверчивых компаньонов. В ходу был прием, известный как подсаливание жилы. С нового участка брали на пробу грунт и отправляли его на обогатительную фабрику, чтобы установить содержание серебра. В этот грунт подмешивали действительно богатой руды или даже растолченные в порошок

серебряные монеты. Анализ на фабрике давал удивительные результаты, организовывалась компания, акции шли по большой цене. А мошенник, облапошив простодушную публику и выжав большие деньги из клочка земли, не годной и для пастбища, норовил побыстрее убраться из Вирджиния-Сити.

О невезучих старателях говорили: «Пришел с начинкой, ушел без потрохов».

Кто-то пускал себе пулю в лоб, кто-то, смирившись, становился обыкновенным чернорабочим и промывал чужую руду. А разбогатевшие — тут их называли набобами — соперничали друг с другом по части крикливой роскоши своих особняков и экипажей. Они разъезжали по Европе, скупая всякую дрянь, которую не умели отличить от предметов настоящей старины, и были убеждены, что подают достойный пример правильной жизни. Однажды Твен плыл на пароходе вместе с одним из крупнейших невадских богачей Смитом. Пассажиры заспорили, сколько миль пройдет судно за круглые сутки, каждый черкнул на листке свой ответ и запечатал его в конверт. В назначенный срок помощник капитана сообщил, что было пройдено 208 миль. Смит радостно захлопал в ладоши, уверенный, что вышел победителем. Он ведь назвал близкую цифру, 209 миль. И записал ее так: «2009» — двести, а потом еще девять.

Но счет деньгам набобы знали хорошо. И попусту не расходовали ни цента. Главная улица Вирджиния-Сити украсилась конторами предпринимателей, ворочавших миллионами, а также вывесками бесчисленных кабаков, увеселительных заведений, полицейских участков; в конце ее красовалось здание тюрьмы, которая никогда не пустовала. Бум был в полном разгаре. Преследуя петляющую жилу, прокладывали тоннели через весь город, и в помещениях поминутно вздрагивали стулья от взрывов, производимых под домом на глубине десятка метров. Над городом висело плотное облако известковой пыли. Невада тех дней оставалась фронтиром во всей его нетронутой красочности. У любого жителя Вирджиния-Сити была своя разработка, сулившая сказочные богатства в самом близком будущем, но пока все эти шахты — «Султанша», «Бумеранг», «Серый орел», «Умри, но добудь» — не приносили ровным счетом ничего, и половина населения старательской столицы безнадежно увязла в долгах мяснику и булочнику. Орудовали грабители и убийцы, окруженные особым почетом сограждан, видевших образец твердости характера в каждом, кто, по местному выражению, «держал частное кладбище», регулярно пополняющееся трупами соперников и

просто неугодных тому или иному из королей преступного мира.

Твен с головой ушел в эту лихорадочную жизнь. Как старатель он не знал успеха. Зато он стал на Дальнем Западе первоклассным журналистом. В Вирджиния-Сити издавалась газета «Энтерпрайз», Твен носил туда заметки и истории о старательских буднях, а потом сделался профессиональным репортером. Работать приходилось каждый день, и помногу: не хватало материала. День напролет скитался он по городу и его окрестностям, чтобы вечером описать очередное убийство или обвал в шахте, чью-то баснословную удачу, чье-то мгновенное разорение, драку в салуне, где схватили за руку матерого карточного шулера, прибытие новой партии переселенцев, стычки с индейцами, пожары, махинации невадских воротил.

Ему объяснили: в газете не должно быть никаких «насколько нам известно», «предполагается», «ходят слухи», должны быть только факты или выдумки, но скроенные так ловко, что публике ни за что не догадаться, морочат ее или говорят правду. Все дело в тоне, каким написана статья, — напористом, уверенном, но допускающим и тени недоумений. Хорошо подпустить два-три красивых описания с неизбежными «розовыми закатами», «серебристым лунным светом», «огненным дыханием раскаленной прерии» и другими дежурными выражениями в том же роде. Неплохо и разнообразить отчет несколькими мудреными словами вроде «ультиматума» или «трансплантации» — смысла их никто все равно не уловит, но они внушают почтение к образованности автора. А самое главное — не смущаться ни преувеличениями, ни заведомым враньем, публика любит все занимательное и легко простит даже самые грубые ошибки и логические нелепости, лишь бы статью было интересно читать.

Нехитрыми тайнами газетного ремесла Твен овладел в мгновение ока. Только он не удовлетворился приобретенными навыками. Самого его интересовали не местные новости, всегда одни и те же, а черточки особого и неповторимого жизненного уклада, какой мог существовать только на фронтире. И свою записную книжку он заполнял зарисовками, которые газете были не нужны. Вот он двумя штрихами рисует трактир, где сегодня обедал: в углу стоит двустволка, хозяин выстрелом извещает, что суп на столе, а второй ствол остается заряженным на случай недоразумений при оплате. Вот еще одна картинка — как в Неваде держат пари: какой-то оборванец показывает принадлежащего ему петуха и предлагает джентльменам, поставив доллар, выдрать этому петуху ноги одним резким движением руки, — выигравший приобретает бесплатное мясо для куриного бульона, проигравший прощается со своим

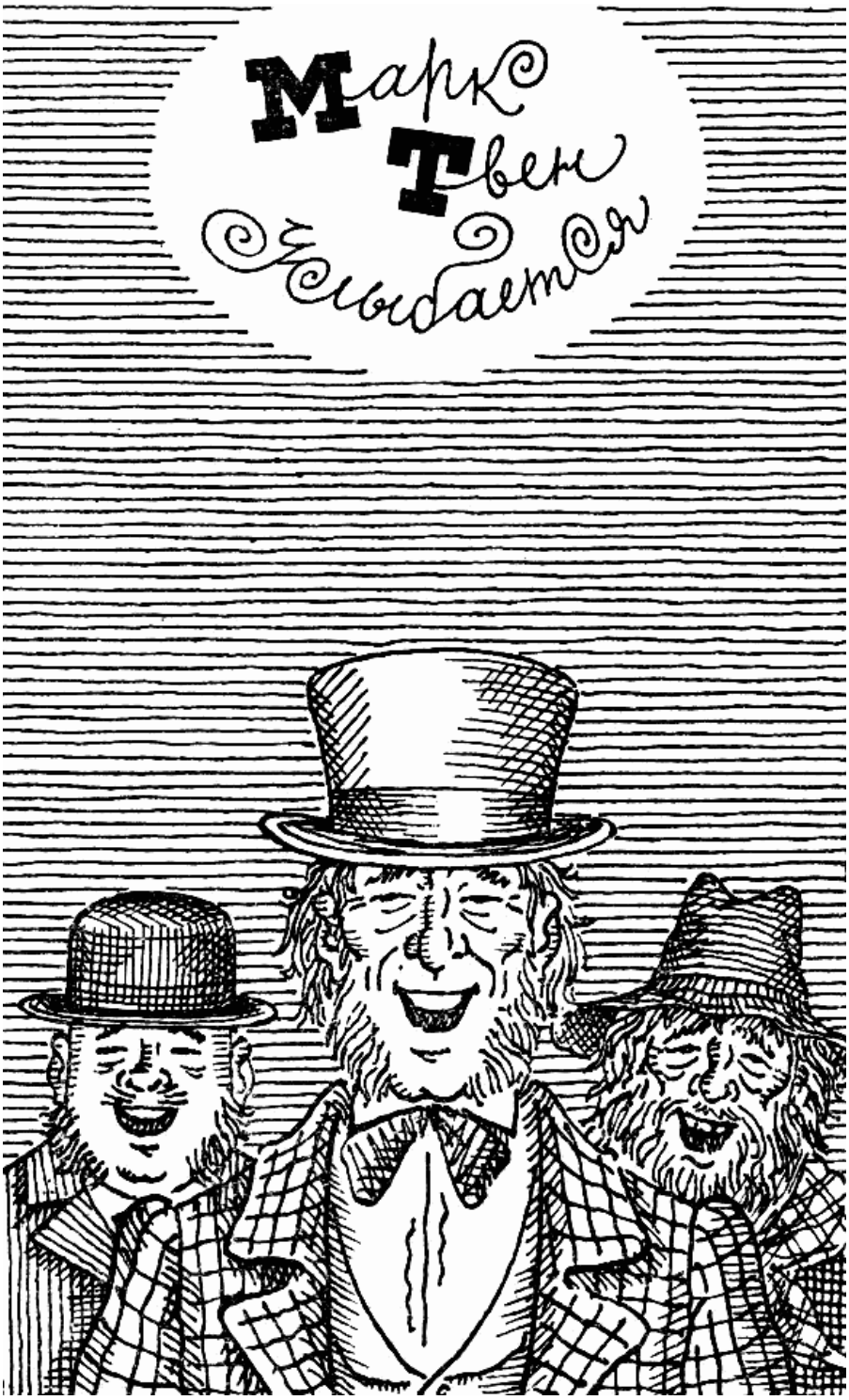
долларом. А вот уже и набросок истории про знаменитую скачущую лягушку — с нее в 1865 году начнется писательская слава Марка Твена.

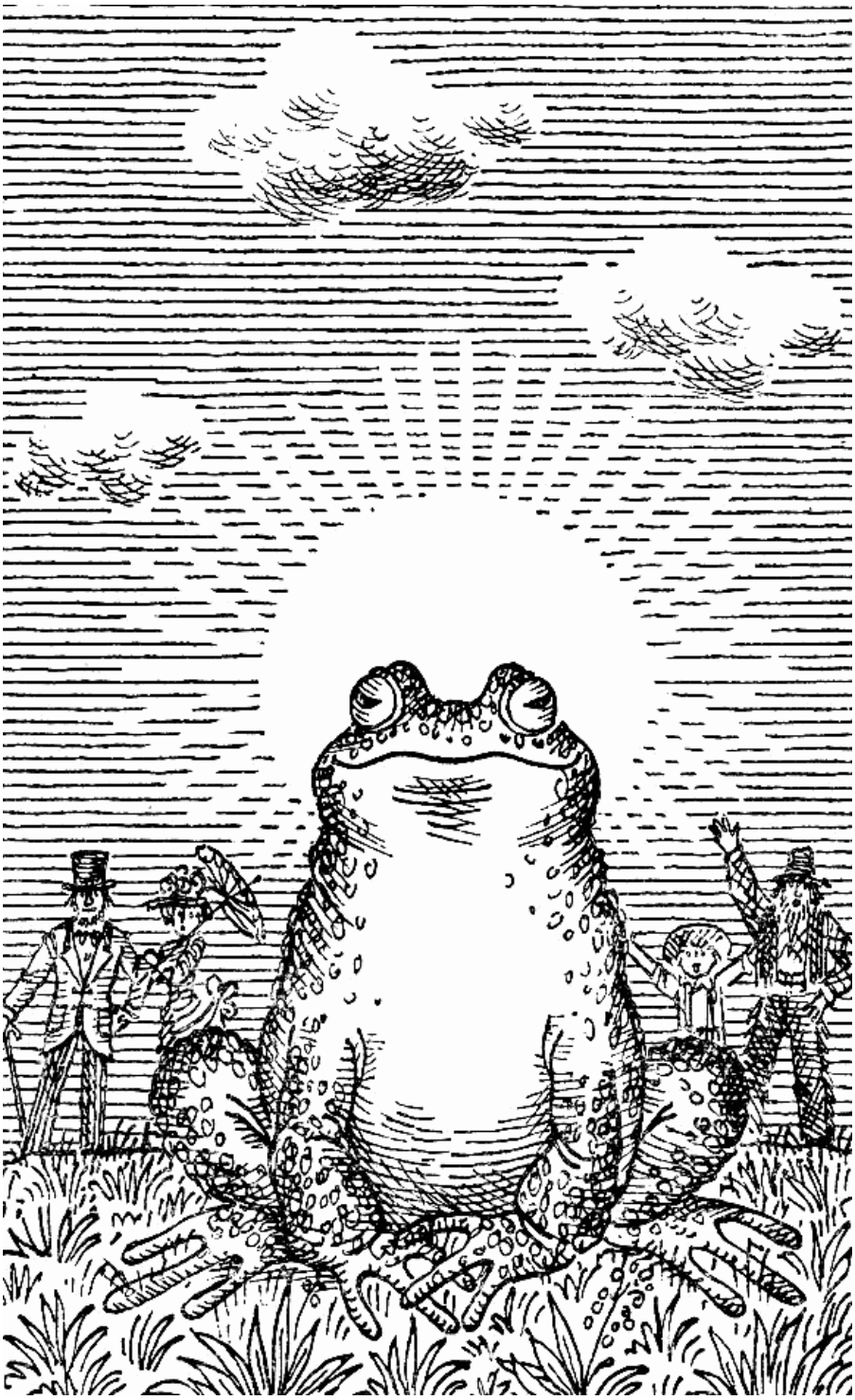
Он еще не задумывается, зачем ему эти записки, эти моментальные снимки неустоявшейся, вздыбленной жизни, где бездна грубого и смешного, драматического и комического. Беспечальное, беззаботное житье бродяги остается для него высшим благом и счастьем. Лишь бы скитаться, не обременяя себя багажом, по бесконечным просторам от реки до океана, почаще менять обстановку, не засиживаться, не увязать в монотонной размеренности провинциального быта. Ведь столько яркого, столько интересного вокруг!

Серебряная лихорадка пошла на спад, и для Твена закончились веселые невадские деньки. Он уехал в Калифорнию, в Сан-Франциско — очень красивый большой город, лежащий по берегам бухты Золотые Ворота. О будущем он не размышлял всерьез, знал только, что оно, по всей видимости, окажется тесно связанным с газетой.

Тогда он еще не догадывался, что открывается его новая жизнь — писательство.

Марк Твен улыбается


Марк Твен
Улыбается



Обложку самой первой его книги украшала огромная лягушка ярко-желтого цвета, резко выступающая на блеклом, светло-

кремовом фоне переплета. Таких лягушек в природе не бывает. Но Твен ведь и написал о лягушке поистине необыкновенной.

Об этой лягушке рассказывали в любом старательском лагере. А еще раньше ту же самую историю можно было услышать в родных краях Твена. Или даже прочитать ее в газетах, издававшихся на периферии, в глубинке. Нашли несколько напечатанных вариантов этого рассказа. И все-таки лягушку из Калавераса прославил не кто иной, как Марк Твен.

А что в ней было особенного, в этой лягушке? Да ничего, просто она умела очень далеко прыгать. Настоящий чемпион по прыжкам что в длину, что в высоту — при слове «мухи» взвивалась в воздух, переворачивалась, как оладья на сковородке, и, схватив муху на лету, скромненько приземлялась на свое место. Звали эту лягушку Дэниел Уэбстер — в честь одного известного американского политического деятеля. У нее был хозяин, Джим Смайли, живший в рудничном поселке, как раз в центре фронтира. Он изловил Дэниела на болоте, долго с ним возился, обучая всяким фокусам, и утверждал, что лягушки необычайно понятливы, надо только дать им особое лягушачье образование, а так они на все способны.

На Дальнем Западе, пожалуй, не отыскалось бы человека, который хоть краем уха не слыхал, как, понадеявшись на удивительный талант Дэниела, Джим Смайли проиграл на пари сорок долларов объявившемуся в Калаверасе незнакомцу. Твен записал этот случай почти в точности так, как его не раз при нем излагали: незнакомец усомнился в способностях Дэниела, принял пари и, пока Смайли ловил для него другую лягушку, всыпал в пасть чемпиону пригоршню перепелиной дроби, так что бедная знаменитость не смогла сдвинуться с места. В общем-то печальная повесть об обманутом доверии и о прилежании, которое пошло прахом.

Но под пером Твена эта повесть, уместившаяся в несколько страниц, смешит читателей вот уже второе столетие. В чем тут дело? Конечно, в том, что у Твена был неподражаемый юмористический дар. Только у каждого большого писателя юмор свой, неповторимый. И есть особые приметы твеновского юмора, которые станут видны, если прочесть тот же рассказ о лягушке по имени Дэниел Уэбстер внимательно.

До Твена рассказывали только про само состязание, в котором Дэниел осрамился не по своей вине. Выходил забавный анекдот о предприимчивом и находчивом госте Калавераса, который так ловко провел бахвала и упрямца Смайли. Получалась всего лишь колоритная картинка из жизни фронтира.

В рассказе Твена сохранена красочная атмосфера быта и

нравов переселенцев. Мы отчетливо можем себе представить и этот поселок в несколько кривых улиц, уводящих в бескрайнюю прерию, и как попало одетых, давно не бривших людей у входа в салун.

О самих лягушачьих скачках мы узнаем лишь под самый конец, а до этого Твен будет долго рассказывать о разных происшествиях из жизни Смайли. Твен? Нет, рассказывать будет некий Саймон Уилер, которому доверено вести повествование. Этот Уилер сам из Калавераса, он все видел своими глазами и все запомнил. Мы верим ему как свидетелю. Сочинителю мы бы так не поверили.

А самое важное — Уилер повествует по-особому. Здесь чуть не каждое слово сразу выдает человека с фронтира, у которого особые понятия о правдоподобном и невероятном, — ни за что не разобрать, где кончается одно и начинается другое. Рассказчику, во всяком случае, никто не докажет, что происшествие, о котором идет речь, — хоть отчасти легенда, а не доподлинный факт. Ведь на фронтире чего не случается, каких только не встретишь чудаков и одержимых, фантазеров и упрямцев!

Со стороны покажется: еще одна небылица, которую придумали, чтобы веселее скоротать вечер в компании приятелей, собравшихся посудачить о том о сем. А для Уилера это совершенно реальный эпизод из повседневного быта затерявшегося среди прерии Калавераса.

Поэтому он и рассказывает очень серьезно, ни разу не улыбнувшись, ничем не выказав, что находит в своем повествовании что-то странное или веселое. Он вовсе не шутит. И Смайли, и незнакомца он считает отменными ловкачами, перед которыми остается лишь снять шляпу. Ему ужасно интересно, кто кому натянет нос, он в восторге от всякой лукавой проделки и, увлекшись ею, перестает относиться к знаменитому пара как к игре — лягушачьи состязания для него событие серьезное, и от слушателей он тоже ожидает серьезности, а не хохота.

А слушатели смеются до слез. И добился этого Твен. Его авторского присутствия в рассказе почти не заметно. Зато Уилер стоит перед нами как живой. Все описываемое мы видим его глазами, настраиваемся на его восприятие, перенимаем его взгляд на вещи. Мы невольно ему верим, хотя кому же не понятно, что он, мягко говоря, преувеличивает. Мы знаем, что Уилер рассказывает, сильно увлекаясь, заостряя или, как говорится, хватив через край. Но сам-то он совсем не осознает, что истина переросла в необузданную фантазию. А Твен делает вид, что и для него самого любая выдумка — это неоспоримая правда: вот так в точности вес и было. Он сохраняет ту же

бесстрастность, ту же серьезность, которые для его рассказчика не поза, не прием, а естественное и искреннее отношение к событиям, пусть явно нереальным или до абсурда комичным.

На этой мнимой авторской серьезности основывается весь юмористический колорит рассказов молодого Марка Твена. Первым его читателям казалось, что такие рассказы — вообще не литература. Тогда еще верили, что литература непременно должна быть возвышенной, глубокомысленной и подчеркивающей свое глубокомыслие, изысканной по языку, совсем не похожему на обычную речь простых людей, и выстроенной в согласии со строгими правилами и законами художественного повествования. А у Твена поминутно попадались словечки грубоватые и просто жаргонные. Никаких правил не было и в помине, изысканность осмеивалась беспощадно. И сам рассказ больше всего напоминал небылицу или анекдот, каких немало довелось услышать начинающему писателю и на пароходах, плававших по Миссисипи, и на приисках, разбросанных по пустынной Неваде.

Эти небылицы, эти анекдоты обязательно требовали преувеличений самых диких, обстоятельств самых невозможных, но выдаваемых за подлинную, абсолютно достоверную реальность, явлений совершенно немыслимых, однако почитаемых истинными в каждой своей подробности.

На языке литературоведов подобное изображение называется гротеском.

Искусство молодого Твена — это искусство гротеска. Но и гротеск бывает самый разный по своим формам да и по сущности. Мы читаем, как у коллежского асессора Ковалева исчез нос. Бедный Ковалев увидел свой нос — подумать только! — в экипаже, который катит по улице. А когда на почтовой станции подозрительного путника задержали, выяснилось, что нос уже успел обзавестись паспортом. Выдумка? Конечно. Все это чистая фантазия. Гоголь вовсе и не хочет, чтобы читатель даже на секунду заподозрил, будто имеет дело с событием, хоть отдаленно правдоподобным. Условность исходной ситуации он обозначает уже первой фразой своей замечательной повести: «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие».

Может быть, все это только страшный сон несчастного Ковалева, может быть, его бред, наваждение («черт хотел подшутить надо мною») или просто какая-то необъяснимая загадка природы. Для Гоголя это не так уж существенно. Важнее то, что вся жизнь, какой она представлена в «Носе», нелепа и пугающа до последнего предела. Перевернута с ног на голову.

Впрочем, гротеск совсем не обязательно требует нарушения

логики, так, чтобы перед нами возникал мир наизнанку. «Путешествия Гулливера» — тоже гротеск, очень последовательный: мы понимаем, что автор придумал и страну лилипутов, и страну великанов, и страну разумных и добрых лошадей-гуигнгнмов, причем не поскупившись на подробности совсем уж сказочные, невероятные, если судить по меркам реальной жизни. Однако сама по себе каждая из книг «Гулливера» вполне логична, надо только осознать и освоить условность самой ситуации, в которую нас переносят. Для читателей XVIII века в этой книге за условностями проглядывали вещи вполне узнаваемые. Доктор Свифт был человеком желчным, наблюдательным и непримиримым ко всяческим порокам, каких не требовалось искать днем с огнем в Англии его времени. Он описывал в «Гулливере» несуществующие государства и их вымышленных обитателей, а современники различали за этими масками английские нравы, английские порядки.

Гротеск способен опрокидывать привычные пропорции и отношения, делая их почти неузнаваемыми, и может сохранять эти отношения, эти пропорции, но только непременно их укрупняя, чтобы острее выступила сущность того мира, который в них воплощен. Удивительно многоликое явление этот гротеск, он может страшить и забавлять, внушать отчаяние или чувство освобождения от пут осмеянной, уничтожаемой им действительности, он создает самые разные художественные формы — философскую трагедию и фарс, притчу и сатиру, нравоучительную сказку и утопию, изображающую желанный справедливый мир будущего. Он никогда не уйдет из литературы, обогащаясь все новыми и новыми творческими возможностями, когда к нему обращаются художники действительно великие — и Свифт, и Гоголь, и Марк Твен.

В гротескную литературу Твен внес свою особую интонацию, свою неповторимую ноту.

Однажды его спросили: какое качество всего нужнее литератору, который хочет писать смешно? Твен ответил не задумываясь: «Способность говорить о смешном, сохраняя непоколебимую важность тона, не подавая и виду, что тебе самому забавно то, о чем повествуешь». Этот секрет он открыл очень рано, еще в первые годы писательской работы. И хотя тогдашним литературным авторитетам казалось, что он просто издевается над нормами изящной словесности, всегда следовал правилу, установленному для самого себя.

Эффект оказывался сильным и порой непредсказуемым.

«Еще не было случая, — писал Твен, — чтобы кто-нибудь не поверил моей самой беспардонной лжи, как не бывало, чтобы кто-

нибудь не счел ложью чистейшую правду, вышедшую из моих уст». Это, конечно, тоже шутка. Но не такая уж веселая. По крайней мере, Твену не пришлось бы долго искать подтверждений этому ироничному комментарию к собственному творчеству. Их набиралось с избытком после любого его рассказа.

Здесь вся суть была в том, что американская публика не привыкла к такому юмору. В Америке и до Твена было великое множество юмористов, а гротеск, не признающий никаких ограничительных пределов, для этих писателей служил едва ли не основным художественным средством. Еще в типографии Амента, на той своей давней службе, Сэмюэл Клеменс не раз с жадностью набрасывался на очередной номер тощего журнальчика «Дух времени», издававшегося в Нью-Йорке, — провинциальные газеты перепечатывали из него целые полосы. «Дух времени» был чужд претензий — он хотел смешить любой ценой, и только. На его страницах публиковались рассказики и зарисовки самых остроумных литераторов той поры.

Остроумные? Посмотрим. Вот что мог прочитать в «Духе времени» Сэм Клеменс, пятнадцатилетний наборщик у Амента.

«Дальний Запад — место, ничего не скажешь, замечательное. Есть там один городишко, о котором жители говорят, что у них «малость шумновато». Вчера я в нем побывал и стал свидетелем двух уличных драк, а также повешения. Трех бродяг прокатили на шесте, потом палили по индюшкам и затеяли собачий бокс. Заезжий циркач прочел им проповедь, перед тем как залезть на самый высокий столб и помахать оттуда ногой. А тамошний судья, проиграв в покер свое годовое жалованье, сначала прикончил партнера по карточному столу, а затем помог линчевать собственного дедушку, которого уличили в краже свиней».

Сейчас подобный юмор покажется нам весьма грубоватым, даже покоробит. Американцам во времена молодости Твена он нравился. Окружающая их жизнь изяществом и утонченностью не отличалась. Жестокостей в ней было через край. И хотелось осмеять эту малопривлекательную повседневность, эту будничную жестокость. Чтобы уже не чувствовать себя их пленниками.

Анекдоты и комичные истории, особенно те, которые сочиняли на фронтире, отмечены упорным пристрастием к сюжетам, связанным с насилием, кровопролитием, избиением. Знакомясь друг с другом, герои таких историй обязательно дерутся, подстраивают всякие каверзы один другому, ломают руки и ноги, отстреливают пальцы и уши, проявляют удивительную изобретательность по части всевозможных

издевательств и глумлений.

А что сам-то он собою представляет, этот герой небылиц и сложенных переселенцами юморесок? Как правило, это редкостный урод, богохульник, ненасытный пьяница, хвастун, каких свет не видел, зато уж с кольтом он выучился обращаться разве что не в колыбели, а о таких вещах, как сочувствие или доброта, отроду не слыхал. Анекдот, и прославляет его, и вышучивает, ведь герой, понятно, лицо собирательное, в нем воплощены типичнейшие черточки психологии фронтира, но уже доведенные до своей крайности, до явной нелепицы, потому что люди, воспевшие этих вымышленных удальцов, на самом деле повествовали о самих себе и умели не только собою восторгаться, но и сознавать уродство собственной жизни, весело потешаясь над нею.

В юности Твен просто обожал истории подобного толка, словно не замечая, до чего они примитивны и невзыскательны. Став репортером невадской газеты «Энтерпрайз», он и сам напечатал страшный рассказ про своего коллегу по газете Дэна до Квилла. Дэн поехал в гости на соседний прииск, а Твен в очередном номере оповестил, что с его приятелем произошел ужасный случай: лошадь понесла со скоростью полтораста километров в час, Дэн вылетел из седла, шляпу вогнало ветром прямо ему в легкие, а нога от толчка вошла в тело до самого горла. Отлично выспавшись и позавтракав у своих друзей, де Квилл развернул свежую «Энтерпрайз» и с растущим удивлением прочел эту мрачную повесть о собственных несчастьях.

Однако довольно быстро Твену приелся юмор, рассчитанный лишь на вкусы не избалованных высокой литературой старателей да переселенцев. «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» на фоне такого юмора казалась Монбланом рядом с небольшими холмиками. В ней тоже властвует гротеск и вольный смех, не оглядывающийся на искусственные разграничения комического и драматического, но в ней есть и качество, которое напрасно было бы искать в анекдотах и небылицах, — это умение буквально двумя-тремя штрихами обрисовать не просто потешную ситуацию, а целый жизненный уклад, целый мир в его необычности. И это умение будет крепнуть у Твена от рассказа к рассказу, стремительно завоевывая ему известность лучшего юмориста Америки.

Он постарался сохранить тональность такой, какой она была в устном, не ведающем никакой литературной приглаженности изложении, он добивался, чтобы его рассказ прежде всего смешил. Но в то же время ему было необходимо, чтобы читатель и за самоочевидным, буйным и несдержанным гротеском видел

достоверно описанную американскую жизнь со всей ее многокрасочностью.

Он создал маску простака, человека доверчивого, неискушенного, недалекого и на каждом шагу попадающего в положения крайне нелепые, но не унывающего при любых передрягах и к тому же способного при всей своей неопытности да и глуповатости в нужный момент как бы мимоходом обронить словцо или замечание, бьющее в самую точку.

Он менее всего заботился о том, чтобы события логично вытекали одно из другого, разрывал необходимые внутренние связи, рисуя действительность как будто лишенной какого бы то ни было смысла и цельности, но эта мозаика на поверку обладала прочнейшими сцеплениями, потому что сама ее пестрота доносила ощущение контрастности, не сочетаемости начал, чересполосицы и хаоса, поражавшего каждого, кто в ту пору впервые приезжал в Америку.

Он знал, что «нет такой крепости, которая не рухнула бы, когда ее атакует смех», и выучился навыкам, необходимым юмористу, — дразнил публику, рассказывая ей совсем не о том, что обещало заглавие, или с невозмутимым видом повествовал про явления совершенно абсурдные, делал выводы, противоречащие всякой логике, и защищал их с упорством фанатика, которым овладела заведомо дикая идея, — но все это для него оставалось лишь техникой, а не сутью творчества.

Он и в ранних — шутливых и гротескных — своих рассказах был реалистом, первым настоящим реалистом в американской литературе, хотя — по беглому впечатлению — на его страницах реальность отступала перед яркой выдумкой и иронией, ничуть не заботящейся о правдивости создаваемых картин.

Только в конечном-то счете эти картины оказывались куда правдивее, чем простые зарисовки жизни в ее обыденном облике. Скольких людей заставляла смеяться до слез «Журналистика в Теннесси», один из самых известных рассказов молодого Твена! И конечно, все считали, что автор проявил на редкость богатую фантазию, а на самом деле ничего подобного происходить не могло.

Разумеется, Твен основательно сгустил краски. Гротеск этого требует по своей природе. А рассказ Твена можно изучать как образец гротеска. Тут и преувеличения ничуть не скрываемые, и герой-простак, которому взбрела в голову бредовая мысль, что, поработав с месяц на Юге, в Теннесси, он прекрасно отдохнет и поправит здоровье. Тут и какой-то оскорбленный газетой полковник, который, по-джентльменски объяснившись с редактором и получив смертельную рану, справляется перед

уходом об адресе гробовщика. Тут и выдранные в драке вихры, и пули, упорно попадающие в безвинного практиканта, а не в шельму редактора, и под конец такая резня, которой не в состоянии описать перо. Тут и походя брошенное шефом газеты замечание, которое на весах юмора, пожалуй, перевесит все леденящие кровь подробности из жизни газетчиков Теннесси: «Вам здесь понравится, когда вы немножко привыкнете».

Словом, бездна смеха и ни грана истины.

И впрямь так? Ничего подобного. Твен прекрасно изучил понятия фронтира и знал участь людей, решившихся избрать в этих условиях ремесло журналиста. В Неваде был случай, когда один тамошний босс, пришедший в ярость от статьи, раскрывавшей его плутни, обманом залучил к себе автора и, выпоров его плеткой, пригрозил расстрелом на месте, если тот немедленно не объявит самого себя клеветником. И никто этому особенно не удивился. Так обычно и поступали с газетчиками посмелее да позадиристей.

На Миссисипи, в городе Виксберге, выходила газета «Утренняя звезда». Ее издателя несколько раз избивали на улице и в конце концов прикончили выстрелом в упор. Четырех последующих редакторов убили на дуэлях. Пятый утопился, не дожидаясь, пока его линчует толпа, обидевшаяся на какую-то нелестную для Виксберга статью. Шестой сразил вызвавшего его дуэлянта наповал и уехал в Техас, но его разыскали и там, не успокоившись, пока он не отправился на тот свет. На этом и закончилась краткая, но бурная летопись невезучей «Звезды».

Вот и получается, что небылицы у Твена почти что быль, только нужно более или менее ясно представить себе жизнь, которую он описывает, и осознать законы гротеска. В мире гротескной литературы, по сути, возможно все — любая фантастика, любые чудеса, любые поступки и события, просто не укладывающиеся в голове. Но чтобы это была литература, а не просто выдумки да потешки, обязательно и необходимо ввести в причудливый этот мир вещи, предметы, явления, которые читатель сразу же узнает, примет как что-то хорошо ему знакомое из собственного опыта. Вымысел должен здесь соседствовать с достоверностью, условное — с безусловным.

Твен никогда не изучал трактаты по эстетике, по это непреложное правило, без которого гротеск выродится в пустые словесные фокусы, он инстинктом художника постиг с первых же своих шагов на писательском поприще. Отчего так смешны его ранние рассказы? Оттого, что основной их мотив всегда почерпнут из реальной действительности и детали повествования до какой-то черты строго правдивы, как будто непосредственно

взяты из окружающего быта, но эти детали едва заметно для читателя начинают укрупняться, приобретать невероятный масштаб. Условное и безусловное, достоверное и вымышленное не просто сосуществуют, они вступают в конфликт друг с другом. Возникает юмористический контраст в самой ткани повествования. А Твен его все усиливает да усиливает, пока не добьется мощного комического взрыва.

Под старость Твен оглянется на пройденный путь и, вспомнив многих своих коллег-газетчиков, когда-то слывших замечательными остроумцами, а теперь всеми позабытых, скажет: «Только юмористы не выживают. Ведь юмор — это аромат, украшение… Если юморист хочет, чтобы его произведения жили вечно, он должен и учить и проповедовать. Когда я говорю вечно, я имею в виду лет тридцать».

Твен судил слишком строго и поэтому ошибся. Прошло не тридцать, а уже без малого сто тридцать лет, но его рассказы по-прежнему живут да и вряд ли когда-нибудь перестанут привлекать все новых читателей. А ведь Твен в них ничего не проповедует. Это просто юмор. Просто «аромат», но настолько свежий и сильный, что он не выветрился с ходом десятилетий.

На страницах твеновской автобиографии, которую писатель диктовал своему секретарю в последние годы жизни, есть забавный эпизод, связанный с френологами. Еще в детстве Твен не раз наблюдал, как жители Ганнибала доверчиво выслушивали россказни какого-нибудь жулика, который, ощупав черен, описывал человеку его характер и судьбу. Почему-то все черепа в Ганнибале оказывались на удивление схожи с черепом прославленного генерала Вашингтона, героя войны за независимость Америки. Ганнибальцам льстило такое сравнение, и они охотнее выкладывали денежки за сеанс.

Прошло много лет, и в Лондоне Твен увидел вывеску некоего Фаулера, который среди френологов почитался великим светилом. Любопытства ради он зашел к Фаулеру и узнал, что обладает многими качествами, о каких прежде и не догадывался, — необычайной отвагой, железной волей, безграничной предприимчивостью. Но вот той шишки, которая означает чувство юмора, на черепе не было и следа. Наоборот, на ее месте красовалась впадина. Данное лицо природа решительно обделила юмором.

Сейчас нам особенно хорошо видна «проницательность» жрецов почтенного искусства гадания. Каждая страница молодого Твена буквально сверкает блестками остроумия, которое было его врожденным свойством. Оно, разумеется, прежде всего «повинно» в том, что Твен заставляет смеяться даже самых хмурых людей.

А ведь и в самую раннюю писательскую пору юмор не был для Твена только украшением. По-настоящему понять его творчество можно лишь при том условии, что мы поймем то главное чувство, которое водило его пером.

Коротко говоря, это чувство абсолютной свободы — от всех предрассудков, от любых догм и притеснений, сдерживающих энергию жизни, которая бьет ключом, от всяческих выдуманных запретов и нудных правил, от всего мертвящего, скучного, враждебного человеческой природе и свойственному всем людям инстинкту справедливости.

Юмор может бичевать и клеймить, по свою работу он делает не хуже и в тех случаях, когда просто обнажает неразумность тех пли иных общественных установлений, моральных норм, жизненных принципов, вышучивая их беспощадно и таким способом выявляя их несовместимость с подлинно человечным устройством жизни. Юмор молодого Твена как раз такого рода — по видимости безобидный, а по сути ниспровергающий все противоестественное, косное и ложное.

Поэтому он, этот юмор, и не признает никаких сдерживающих центров. Покойник здесь может запросто усесться на козлы собственного катафалка рядом с кучером и премило побеседовать с приятелями — сама смерть выглядит лишь чудовищным насилием над динамичной, радостной и бурной жизнью, и юмор отрицает ее всевластие, что бы по этому поводу ни было написано в умных книжках. Сиамские близнецы могут здесь в два счета опорожнить бутылку с крепким напитком и потом забавляться, забрасывая камнями церковную процессию, — ведь эти самые близнецы тоже живые люди, а значит, им не могут быть чужды обыкновенные земные радости, а ханжеское благочестие не может не выводить их из себя.

Раз и навсегда должно быть покончено со всякой искусственностью, всякой унылой назидательностью, в какие бы одежды они ни рядились. Пусть через эти окаменелые и выхолощенные представления о том, что правильно и достойно, а что неверно и порочно, пробьется настоящая жизнь, которой дела нет до наперед вычисленных понятий и норм, потому что она все равно умнее любых мудрецов.

Издеваясь над бескрылой и убогой книжной премудростью, Твен очень любил чуть ли не в мельчайших особенностях воспроизводить присущую авторам наставительных и глубокомысленных книжек манеру изложения, но при этом вкладывал в свой текст содержание, ничего общего с такими книжками не имеющее. Это старый прием юмористики, и называется он пародией. Многие твеновские рассказы

представляют собой пародии, явные пли зашифрованные.

Чаще всего он пародировал библейские легенды и их переложения в учебниках для воскресных школ. А кроме того, романы и повести, в которых герои изъяснялись возвышенным языком, каким на самом деле никто не говорит, и не умели ни одно событие, с ними приключающееся, пережить просто и искренне. И еще всевозможные эпизоды из биографий прославленных людей, преподносимые американским малышам в качестве примера для подражания, но до того скучные, что оставалось лишь поступать как раз наоборот, чтобы, боже упаси, не сделаться таким же занудой, как все эти праведники и «Моральные Образцы».

Есть у Твена рассказ «Трогательный случай из детства Джорджа Вашингтона», того самого Вашингтона, чья голова по форме была неотличима от черепов большинства ганнибальцев. Там говорится об одном любителе игры на аккордеоне. Его музыка производила совершенно необычное действие. Какой-то старец, годами прикованный к постели, с радостными слезами на глазах обнял нашего музыканта и сказал, что теперь ему хочется умереть, лишь бы не услышать вариации к «Застольной» еще раз. Хозяйки квартир охотно не брали с него ни гроша, но при условии, чтобы он съехал до истечения первого месяца. Едва раздавались душераздирающие звуки аккордеона, как с соседями делалось что-то странное — печальные становились отчаявшимися, а мирные жильцы впадали в бешенство, как коты в марте.

Постойте, ну при чем же тут маленький Джордж Вашингтон, Который Не Умел Лгать и доказал это, подрубив вишневое деревцо, но тут же признавшись папе и покаявшись? Да ни при чем, конечно. Действительно, был такой случай, и очень трогательный. Но, увлекшись повествованием о тяжких муках незадачливого маэстро, а также о скрипачах, кларнетистах и дикаре-барабанщике, которых автор в свое время спалил живьем, очутившись с ними под одной крышей, Твен — как жаль! — просто позабыл, в чем именно проявилась бесконечная правдивость будущего знаменитого генерала. Хотя, несомненно, каждому было бы полезно в тысячный раз выслушать эту назидательную историю.

Здесь тоже использован прием, обычный у юмористов, — розыгрыш или же мистификация. Нам вроде бы собирались рассказать об одном, а рассказали совсем о другом, или намеренно рассказ оборван там, где он, кажется, только и должен был начаться. Вместо логики в рассказах-мистификациях господствует бессвязность, слова означают вовсе не то, что они

должны были бы обозначать, — мы ведь понимаем, отчего слезы немощного старца, которого аккордеонист угостил своей «Застольной», были радостными, хотя кто же обрадуется приближающейся собственной кончине.

Мистификация дразнит нас и заставляет отнестись к набившим оскомину прописным истинам без той почтительности, которая порой только мешает выяснить, так ли уж они бесспорны. Когда надо развенчать дутые сенсации пли претензии на абсолютную правоту, не подкрепленные ни аргументами, ни здравым смыслом, розыгрыш — оружие незаменимое. Оно бьет без промаха.

На фронтире любили самые разнообразные мистификации и розыгрыши. Когда невинные, а когда и озорные, насмешливые. Твен их тоже любил и не раз превращал свои рассказы в типичные мистификации.

Вот он пишет рассказ «Венера Капитолийская» — о живущем в Риме нищем художнике-американце, который влюбился в дочь богатого бакалейщика. Тщетно добивается он руки своей избранницы. Бакалейщик искусством никогда не интересовался и требует солидных доказательств деловитости претендента, для начала — по меньшей мере пятидесяти тысяч капитала. Положение отчаянное. Но, конечно, не безвыходное.

У героя, по счастью, есть приятель, которому практической сметки не занимать. Несколькими ударами молотка искалечив статую Америки — предмет гордости художника, хоть папаша и обозвал его работу мраморным пугалом, — этот смекалистый Джон Смит зароет обломки в землю, чтобы спустя полгода «случайно» их извлечь и заставить целую толпу дипломированных знатоков восторгаться новооткрытым созданием художественного гения греков. А папаша тут же воспылает страстью к скульптуре и лично проводит ошалевших от удачи молодоженов в свадебное путешествие.

О Джоне Смите нам не сообщается ничего, и дело происходит вдали от американских берегов. Но не может быть сомнений в том, что мы познакомились еще с одним сыном фронтира. Потому что вся проделка вполне достойна типичных для фронтира розыгрышей. А такого рода житейская сообразительность могла быть свойственна только человеку, с младых ногтей усвоившему, что надо полагаться на собственную голову да забыть про робость, и тогда любые трудности разрешатся в мгновение ока.

Рассказы начинающего Твена прямо-таки пропитаны жизнерадостной и в общем-то здоровой атмосферой почти незаселенных просторов на Дальнем Западе страны. Мир,

раскрывающийся перед нами в этих юморесках, молод, он словно бы создается непосредственно у нас на глазах. Быт, отношения, мораль — все еще не установилось, только налаживается. Об утонченности, о совершенстве не приходится говорить, но зато все подчинено требованиям жизни, а не вымученным условностям. Действительность скрывает в себе бездну тайн и надежд. Она привлекает и завораживает. В ней нет места ни для какой косности и оцепенелости. В ней привольно чувствует себя простая, твердо верящая в близкое счастье душа.

И Твен улыбается. Его пьянит этот привольный мир, его еще не могут всерьез омрачить ни вспышки варварской жестокости, ни повальное невежество и бескультурье, ни всеобщая погоня за наживой — вещи, для фронтира столь же характерные, как и естественность тамошних нравов или бурная энергия обитающих там людей. Все тревоги пока кажутся недолговечными, все катастрофы еще не выглядят непоправимыми, и никакие неудачи до поры не способны поколебать уверенности в благополучном завершении любых испытаний и жизненных штормов.

Таким он входит в литературу, этот щедро одаренный и до беспечности радостный писатель, чей талант светится в каждой строке, в каждой пустяковой комической зарисовке. Для многих он таким навеки и останется, хотя время очень серьезно переменит его взгляды, поубавив лукавства и озорства, окрасив твеновский юмор в новые тона, которые уж никак не назвать лучезарными. Но как бы круто ни ломались впоследствии его убеждения, он всегда с бесконечной благодарностью будет вспоминать Неваду, «серебряную лихорадку», редакцию «Энтерпрайз», прииски, старателей с их суевериями и странноватыми привычками, стенные костры, продуваемые всеми ветрами гостиницы, выжженные зноем белесые дороги в прерии — время, когда он был молод и по-настоящему счастлив.

«Знаменитую скачущую лягушку из Калавераса» Твен напечатал в 1865 году, незадолго до того, как завершилась Гражданская война. На Западе — в Неваде и Калифорнии — о войне узнавали только из газет; новые штаты участия в ней не приняли, хотя и тут были свои сторонники северян и приверженцы южан. Последних к концу войны почти не осталось, и Твен теперь тоже всей душой сочувствовал делу отмены рабства и восстановления американского союза. Впрочем, политика не составляла для него главного интереса. Его помыслами завладела литература. Его увлекла пестрая и причудливая повседневность Сан-Франциско, где на каждом шагу обнаруживались россыпи захватывающих сюжетов и тем.

По первому впечатлению Калифорния казалась райским

уголком. Ослепительная зелень, диковинные тропические цветы, реки, сверкающие под жгучим солнцем, пустующие пляжи, вытянувшиеся на десятки километров, — все зачаровывало усталого переселенца, долгие месяцы пробивавшегося к Тихому океану через безлюдные пустыни и труднопроходимые горные цепи. Калифорния встречала своих новых обитателей шелестом апельсиновых и лимонных рощ, пьянящим ароматом плодородной земли, густым акцентом, окрасившим речь ее старожилов.

На побережье смешались чуть не все народы мира. Еще недавно это была территория Мексики, и по-испански многие говорили лучше, чем по-английски. Развалины старинного форта напоминали о том, что когда-то здесь развевался русский флаг. По окраинам городов теснились перенаселенные китайские кварталы: строили сразу несколько железных дорог и из поднебесья империи вывозили самую дешевую на свете рабочую силу.

Сан-Франциско был разбросан по холмам и производил впечатление полного хаоса. Оставшиеся от испанских грандов роскошные особняки соседствовали с безликими кирпичными постройками, в которых располагались бесчисленные конторы, банки, правления, акционерные общества, страховые компании, торговые фирмы. На центральных улицах днем и ночью бурлила деятельная жизнь, а рядом ютились невзрачные деревянные домишки и незаметно начинались предместья, карабкавшиеся вверх по песчаным склонам. Бегала конка, франты хвастались друг перед другом туалетами, полученными от лучшего парижского портного, и брезгливо обходили устроившихся прямо на тротуаре нищих или перемазанных сажей чернорабочих-китайцев. Кабаки и игорные дома не закрывались никогда, как на дрожжах росли здания театров и цирков, вокзалов и доков, складов и пакгаузов, в порту толпились шхуны, баркасы, катера, прижавшиеся к борту больших океанских пароходов.

Калифорнийцы с почтением относились к тем, кого называли людьми сорок девятого года. Тот год был для Калифорнии особенный — под Сакраменто нашли золото и население утроилось в считанные месяцы. Когда Твен приехал в Сан-Франциско, золотой ажиотаж давно стал только воспоминанием, но его остывшие следы еще попадались повсюду. Стоило прогуляться по окрестностям калифорнийской столицы, и глаз непременно останавливался на свалке мусора, догнивающих досках, обвалившейся, заросшей травой шахте — памятнике канувшему в вечность палаточному или фанерному городу, где не так давно каждый клочок земли продавали за бешеную цену и

везучие старатели зарабатывали до тысячи долларов в день, тут же обменивая их на жалкие радости, какие мог предоставить фронтир.

Теперь золота почти не осталось, а текучее, беспокойное старательское племя рассеялось по ближним и дальним уголкам Америки. Кто-то сложил голову в уличной потасовке, кто-то, не выдержав напряжения, состарился и одряхлел в тридцать лет. Но многие ветераны сорок девятого так и осели в Калифорнии, сделавшись незаметными служащими или десятниками на стройках, а все-таки сохранив в душе тот огонь романтики и надежды, который ярко полыхал на изрезанной карьерами и штоками калифорнийской земле лет пятнадцать назад. Бум прошел, но еще не до конца улеглось вызванное им возбуждение, и везде в Сан-Франциско чувствовалась атмосфера повышенной активности, захватывающей самые разные сферы жизни.

Местная журналистика процветала — газет было множество, и все они шли хорошо. Несколько твеновских фельетонов и юморесок из «Энтерпрайз» было перепечатано в Сан-Франциско. Его имя знали, и работу он достал без труда, причем в лучшей из здешних газет, в «Колл».

Утром он отправлялся в полицейский суд за материалом. В каждом номере «Колл» шла хроника, которую Твен целиком заполнял заметками из суда. Однажды он увидел, как группа ирландцев забрасывает камнями рабочих китайской прачечной, которые несли тяжелую корзину с бельем. Полисмен равнодушно наблюдал за этой сценкой и не думал вмешиваться. Раньше все прачечные были ирландские, но китайцы стирали дешевле и лучше. Отбивая клиентов, они озлобляли своих разорявшихся соперников по ремеслу.

Вернувшись домой, Твен описал увиденное в проникнутой негодованием статье, но, к своему удивлению, не обнаружил ее ни в очередном, ни в следующих номерах «Колл». Пришлось объясняться с издателем. И тот заявил, что не потерпит в своей газете никаких глупостей. Ирландцы — белые, а значит, в стычке с желтыми они заранее правы. Если Твен с этим не согласен, ему лучше поискать себе другое место.

Он ушел из «Колл» и сразу оказался на мели. Его не оставляли мысли о том конфликте, который произошел из-за несчастной статьи.

К этой теме он еще вернется — в рассказе «Друг Гольдсмита снова на чужбине». Оливер Гольдсмит, знаменитый английский писатель XVIII века, ни минуты не сомневался в том, что всякий человек от природы добр, разумен, чистосердечен, и только ложные социальные установления мешают немедленно

осуществиться всеобщему счастью, торжествующей справедливости. Нужно показать их ложность, просветив умы, и тогда воцарятся гармония и красота.

Такие взгляды были свойственны многим лучшим людям той эпохи, ее мыслителям, ее художникам. Восемнадцатое столетие осталось в истории как век Просвещения.

Первая книга Гольдсмита озаглавлена «Гражданин мира, или Письма китайца». Она представляет собой серию очерков, созданных в форме писем наблюдательного, пламенно сочувствующего Просвещению человека, якобы приехавшего погостить в Англию из Китая и, конечно, удивившегося порядкам и нравам, которые сильно отклоняются от представлений о естественности, о благоразумии.

Просветители питали пристрастие к подобным мистификациям. Твен прибег к испытанному оружию пародии. Использованный Гольдсмитом литературный прием, который успел стать ходульным, был осмеян, но суть рассказа не в этом. Получился острый памфлет. Простодушный китаец А Сун-си считал себя удачливым человеком, когда ему представился шанс уехать в Америку. От вербовщика он наслушался трескучих фраз о том, что в Америке каждого ждет счастье и удача, богатство и равноправие. И все это он принимал за чистую монету. В грязном, переполненном трюме парохода, который за шестьдесят долларов — еще предстояло отработать эту колоссальную для китайца сумму — вез его через океан, А Сун-си не уставал возносить хвалу обетованной земле, где нет ни голода, ни нужды, ни предубеждений.

Но убежище угнетенных и униженных оказалось приютом воров и насильников, которые сначала обобрали новоприбывшую партию азиатов до нитки, а потом начали их травить, словно шелудивых псов. И дня не прошло, как друг Гольдсмита, избитый уличным отребьем, которому охотно помогли полисмены, очутился за решеткой, и суд, разумеется, признал, что порядок нарушил он сам, а значит, должен выплатить штраф или задержаться в тюрьме на десять суток. Китайцы не имеют права свидетельствовать против белых. И других прав они тоже не имеют. Мало ли, что конституция говорит о равенстве всех перед законом. На негров и китайцев конституция не распространяется. Пусть знают свое место — в самом низу, на дне.

«Чтобы сделать историю китайца в нашей стране занимательной, помощь фантазии не нужна, — писал Твен в кратком предуведомлении читателю, утверждая, что рассказ точен, как документ. — Достаточно простых фактов».

Калифорнийская пресса такие факты обходила молчанием.

«Друг Гольдсмита» был напечатан лишь в 1870 году, когда Твен давно уже жил в Нью-Йорке. Но горькие мысли, которыми заполнен этот рассказ, зародились под непосредственным впечатлением судебных разбирательств, которые описывал репортер из «Колл». И ни случайными, ни преходящими они не были.

А пока Твен сочинял смешные очерки, заботясь скорее не об их содержании, а о том, чтобы придумать какой-нибудь особенно неожиданный поворот сюжета, особенно комичную реплику или забавную нелепость. В Сан-Франциско издавался литературный журнал «Калифорниец», где с удовольствием принимали все, что он приносил. Возглавлял этот журнал писатель, который вскоре станет знаменитым, — Фрэнсис Брет Гарт.

Брет Гарт не забыт и сегодня, но трудно поверить, какой славой он пользовался в первые годы после Гражданской войны. Когда, заваленный приглашениями от крупнейших издателей и самых изысканных литературных клубов, он в 1871 году двинулся из Калифорнии в Нью-Йорк, это было событие национального значения. Целая свита репортеров сопровождала каждый его шаг.

За год до своей поездки он напечатал «Счастье Ревущего Стана» — превосходную новеллу об искателях счастья, побросавших дома и службу, чтобы устремиться в Калифорнию, к берегам неведомых ручьев с пышными испанскими названиями, по слухам прямо-таки искрящихся золотом. Этих людей Брет Гарт обрисовал правдиво, хотя немножко сентиментально. Сколько пролилось слез над этим рассказом про то, как у единственной на весь Ревущий Стан женщины родился младенец и старатели в едином порыве собрали для ребенка целое состояние, заодно взяв на себя функции нянюшек и прачек.

Ту жизнь, о которой шла речь в его книгах, Брет Гарт изучил досконально. Он приехал в Калифорнию вместе с золотоискателями, сам ставил заявочные столбы, а когда понял, что сокровищ ему не найти, сделался курьером почтового дилижанса, учительствовал, выпускал недолговечные газеты. И постепенно приобретал известность как литератор.

Природа не обделила его ни умом, ни чувством. В своей вилюйской ссылке Чернышевский прочел рассказ Брета Гарта «Миггле» и отозвался об авторе очень точно, назвав его «человеком необыкновенно благородной души», которому, впрочем, недостает запаса наблюдений и размышлений. Брет Гарт был убежден, что писателю надо изображать не выдуманных персонажей с их оранжерейными страстями и вычурными позами, а только такую действительность, которую он хорошо знает и любит, пусть даже кому-то она покажется непривлекательной и

грубой. Необходимо, чтобы в литературу вошла живая жизнь в ее истинном облике, столь изменчивая, столь разная в бесчисленных отдаленных уголках просторной Америки.

Эти взгляды были близки и Твену, и другим начинающим писателям той поры. Возникло целое литературное движение противников шаблонной романтики и искусственности, приверженцев достоверного изображения будничной реальности, которую художник наблюдал у себя дома в Калифорнии или на Юге, в глухом городке посреди прерии или на фабричной окраине Чикаго. Таких писателей называли «местными колористами». Для них впрямь было очень важно передать особые краски повседневности тех мест, где сами они прожили десятилетия. Брет Гарт был талантливее их всех.

В писательской биографии Твена он сыграл большую роль. Когда они познакомились, Твен смотрел на редактора «Калифорнийца» с восхищением и робостью. Брет Гарт был опытный, искушенный журналист и писатель, чьи идеи завораживали и увлекали. Твен был одарен, и Брет Гарт много с ним возился — правил стиль, объяснял промахи. Рассказывал, что сам он начал писать по чистой случайности: работа в типографии, уставал от скучных статей, которые приходилось набирать, и заменял их собственными заметками, обходясь без рукописей, — просто вставлял придуманный текст на полосу.

Поначалу Твену нравилась такая опека. Однако она быстро стала докучной. Брет Гарт уважал вкусы читателей «Калифорнийца», привыкших к гладкости изложения, слезливым эффектам и непременным назиданиям под конец всякого рассказа. Твена смешили и возмущали эти уступки господствующим понятиям о литературе. Да и «местный колорит» для него был только одним из многих необходимых элементов повествования — важным, но не исчерпывающим его сущности, как порой случалось у Гарта.

Они поссорились и расстались на несколько лет. Когда оба перебрались на другой океанский берег, отношения были возобновлены. Затеяли даже совместно писать пьесу, но Брет Гарт под любым предлогом увиливал от дела, забывал о клятвах закончить свою часть к намеченному сроку. В итоге пьеса с треском провалилась. Твен рассердился не на шутку и в воспоминаниях, создававшихся четверть века спустя, обронил о Гарте несколько злых, несправедливых фраз.

На самом деле он был немало обязан этому беспечному острослову и поэту, трогательно воспевавшему калифорнийских аргонавтов, только так и не сумевшему для самого себя отыскать золотое руно. Брет Гарт помог Твену поверить в свое

писательское будущее, развил присущий ему вкус к характерным подробностям и точным штрихам, по которым сразу же узнается атмосфера изображаемых событий, выучил его избегать перехлестов и небрежностей. Он сделал для Твена то, что мог. Просто силы Гарта и возможности Твена уж слишком явно не совпадали по масштабу, и дружба должна была смениться неприязнью, когда это выяснилось с полной очевидностью. Твен ушел, унося чувство обиды, но история рассудила иначе, и теперь отчетливо видно, что не кто иной, как Брет Гарт, взрыхлил почву, на которой вырастет и окрепнет могучее дарование творца «Тома Сойера» и «Гека Финна».

Одна калифорнийская газета предложила Твену съездить на Сандвичевы острова — теперь они называются Гавайскими — с условием, что каждую неделю он будет присылать очерк тамошнего быта, смеша читателей воскресных выпусков. Он с радостью согласился. В те годы беззаботное кочевое житье было ему по нраву; он говаривал, что человечество происходит от бедуинов, никогда не знающих, где их следующий ночлег, — тысячи лет люди привыкали к цивилизации, но все равно остались бродягами. Пройдет время, Твен станет семейным человеком, но страсть к вольным скитаниям у него не ослабнет. Клемансы годами будут жить в Европе, переезжая с места на место, Марк Твен обогнет по экватору чуть не весь земной шар. А его любимые герои — Том, Гек и негр Джим — немало постранствуют и на плоту, и на воздушном шаре, и на своих двоих, только и норовя удрать от бестревожного, да уж больно однообразного житья у тети Полли и тети Салли.

На Сандвичевых островах перед Твеном открылась необычная жизнь. Формально острова считались независимой монархией, но здесь уже вовсю хозяйничали американцы. Понаехали тысячи миссионеров, отучавших туземцев поклоняться богу Акуле и приобщавших их к христианству. Гавайцы привыкли жить привольно, как дети природы, и в церковь нередко приходили, не позаботившись о костюмах. Смущенный проповедник торопливо раздавал своей пастве припасенные для такого случая рубахи и юбки, которые прихожане надевали кто задом наперед, кто наизнанку.

Край этот был редкостно богат, и к нему давно протянули свои жадные лапы американские промышленники и банкиры. В 1893 году здесь будут спровоцированы волнения, которые предварительно отрепетируют, как пьесу в театре, — американские войска, пользуясь случаем, высадятся на островах и не уйдут, пока Гавайи не сделаются штатом США. Твен предвидел такой поворот событий. Есть у него фельетон «Страшные

Сандвичевы острова», в котором он с совершенно серьезной миной советует соотечественникам поскорее завоевать Гавайи. Пусть туземцы уже сейчас приобщатся к прогрессу, например, узнают, как можно безнаказанно воровать миллионы казенных денег, как свалить вину на невиновного, предъявив задавленному поездом судебный иск за то, что своей кровью он испачкал рельсы, как подкупать чиновников, чтобы в отчетах правительству они изображали преступления благодеяниями.

Гавайский царек, сидевший в Гонолулу, не мешал такому прогрессу осуществляться стремительными темпами. Прежде туземцы жили племенами, где все было общее — и хозяйство, и дети, и пища. Миссионеры нашли, что это большой грех, и принялись успешно искоренять языческие порядки. Заодно искореняли и самих язычников. Не прошло и ста лет с того дня, как знаменитый мореплаватель-англичанин Джеймс Кук открыл Сандвичевы острова, а местное население успело сократиться с четырехсот тысяч человек до пятидесяти пяти тысяч.

Гонолулу очаровал Твена. В тени громадных тропических деревьев прятались веселые домики из кремовых кирпичиков — смеси коралла и камешков; цветники переливались множеством оттенков, словно луг после летнего дождя; бродили по улицам разомлевшие от жары кошки. Гортанная речь туземцев звучала для Твена как музыка рая, простиравшегося вокруг.

Он исколесил острова вдоль и поперек. В своих очерках он писал, что Гавайи — это и сегодня земное святилище, как ни оскверняют его бизнесмены да церковники. Об этом он говорил и на своих публичных чтениях, которые вскоре начнут собирать толпы слушателей.

Несомненно, Твен обладал ярким актерским талантом, хотя это выяснилось неожиданно для него самого. Вернувшись в Сан-Франциско, он опять сидел без гроша в кармане и решил попытать счастья на эстраде. Составил смешную афишу, где были обещаны и оркестр, и устрашающие дикие звери, и роскошный фейерверк, а мелким шрифтом сообщалось, что все это будет в другой раз и в другом месте, без его участия.

Выйдя на сцену, он предложил наглядно продемонстрировать публике обычаи дикарей, живьем съев у нее на глазах младенца, если какая-нибудь мамаша пожертвует для этой цели своим чадом. Своды зала затряслись от хохота. Твен вытащил из-под мышки связку обтрепанных листков, развернул их, потом, махнув рукой, засунул рукопись в карман и принялся просто рассказывать обо всем, что видел на островах. Он шутил, притворялся простачком и невеждой, расписывал ужасные нравы людоедов, которых на Гавайях не было и во времена капитана

Кука. А когда слушатели вдосталь насмеялись, вдруг стал очень серьезным и гневно обрушился на коммерсантов, сахарозаводчиков, попов, которые кишели в Гонолулу, словно мухи, слетевшиеся на арбузную корку, и превращали цветущий архипелаг «в рассадник цивилизации и других болезней». С чтения Твена расходились в задумчивости. Он достиг своей цели.

Это было его прощание с Калифорнией. 15 декабря 1866 года Твен сел на пароход, следовавший к Панамскому перешейку, где была пересадка на Нью-Йорк. Рождество праздновали в пути, но праздник вышел нерадостный: двое пассажиров заболели холерой, вспыхнула эпидемия, и каждый день тела скончавшихся опускали за борт, зашив в парусиновый саван и привязав к ногам пушечное ядро. Один из пассажиров умер при входе в нью-йоркскую гавань; чтобы не попасть в карантин, записали, что он стал жертвой водянки.

Исхудавший от строгой диеты, потрясенный всеми этими смертями и мрачно настроенный калифорнийский юморист ступил на гудроновый причал Нью-Йорка — города, который ему еще предстояло покорить.

Здесь о нем никто не слышал, все приходилось начинать с самого начала. Гигантский город — уже тогда без малого полтора миллиона жителей — был опоясан кольцом вокзалов, куда прибывали поезда со всех концов Америки. На километры тянулись невзрачные улицы негритянского района — Гарлема. Целые кварталы занимали обшарпанные доходные дома, приют переселенцев из Европы: венгров, поляков, итальянцев, скандинавов. Перебраться через Бродвей было нелегко: по центральной магистрали на бешеной скорости несся поток экипажей. Омнибусы раскачивались, как корабли в шторм, и на поворотах кто-то обязательно вылетал под жестокий смех попутчиков. С кафедры проповедника каждое воскресенье собравшейся аудитории внушали, что святость и богатство — родные сестры; покидая храм, дамы в модных головных уборах, напоминавших жокейские седла, и солидные негоцианты в цилиндрах покрепче прижимали к груди сумочки и портмоне, чтобы не распрощаться с ними, когда нужно было проталкиваться через толпу подозрительных личностей у входа. Существовало пять ежедневных газет и двенадцать театров; газеты постоянно прогорали и закрывались, а театры что ни месяц тоже горели — по-настоящему, на глазах репортеров и бесчисленных зевак.

В одном из этих театров Твен выступил со своим рассказом о Гавайях — успех оказался куда скромнее, чем в Сан-Франциско. Он пробовал пристроиться в редакциях, но штаты были заполнены. Однажды ему попалось на глаза объявление, что

некий капитан Дункан организует путешествие по: странам Европы с посещением Святой Земли — так именовалась Палестина, — где происходило все описанное в Евангелии. Билет на пароход «Квакер-Сити», зафрахтованный для этой цели, стоил дорого, но Твену пришла счастливая мысль предложить свои услуги корреспондента калифорнийской газете «Альта» и двум нью-йоркским журналам. Редактор «Альты» не сомневался, что очерки Твена поднимут тираж, и оплатил его проезд.

В начале июня 1867 года «Квакер-Сити» вышел из Нью-Йорка, два дня проболтался на рейде — сильно штормило и пассажиры, для которых большей частью это было первое морское плавание, слегли почти поголовно, — а потом взял курс на Азорские острова и к Гибралтару. Пройдет полгода, прежде чем на горизонте опять покажутся американские берега.

На любой стоянке можно было покинуть корабль, поездить по стране и вернуться поездом в следующий порт захода. Твен увидел Париж и Флоренцию, старинные испанские замки, величественную панораму Афин, пирамиды на Ниле. Через Палестину все путешественники ехали караваном в сопровождении арабских гидов. Они напоминали паломников, пускавшихся в долгие и трудные странствия, чтобы поклониться святым местам. В странах, где говорят по-английски, по сей день высоко ценится книга писателя-англичанина XVII века Джона Беньяна «Путь паломника» — там описано, как грешник становится праведником. Своей книге очерков, возникшей в результате поездки на «Квакер-Сити», Твен дал не лишенный иронии подзаголовок «Путь новых паломников».

А назвал он ее «Простаки за границей». В каком-то смысле они действительно были простаками, эти семьдесят давно уже не молодых, воспитанных в воскресной школе и напичканных евангельскими заповедями провинциалов, которые никогда прежде не ездили в Европу, не отличались ни образованностью, ни воспитанием, но при этом вполне искренне полагали, что стоят на голову выше всяких французов, итальянцев, а уж тем более греков и сирийцев, так как они подданные Америки, а Америка — ну разумеется! — самая передовая и вообще самая лучшая страна на свете.

Твена иной раз выводила из себя эта их самонадеянность, но, впрочем, он и сам в те годы думал примерно так же. Простак для него был человек сообразительный, практичный, не склонный к чувствительности и обладающий если не изысканной душой, то, по крайней мере, здравым суждением о вещах. Словом, это был для него человек понятный и симпатичный. На эстраде и в газетных скетчах он ведь и самого себя изображал простаком.

Другое дело, что в повседневном общении со своими спутниками он, случалось, ощущал себя неловко и стесненно, словно бы, собравшись кутнуть с друзьями, он попал на чай к священнику. На «Квакер-Сити» с утра до ночи молились, писали нуднейшие дневники да играли в домино. Ехал поэт, по любому поводу сочинявший длинные высокопарные оды и мучивший ими каждого, кто попадался на глаза. Ехал любитель порассуждать, от чьих пустопорожних разговоров, пересыпанных мудреными и всегда некстати употребляемыми словесами, Твен готов был прыгнуть за борт. Ехала дама, до такой степени обожавшая свою злую собачонку терьера, что на стоянках покупала ей букеты.

Но больше всех досаждал Твену некий пассажир, которого в своих заметках писатель именует добродушным предприимчивым идиотом. Тот еще у себя дома решил, что Америка превосходит Европу по всем статьям, и уже в Гибралтаре, едва взглянув на могучие укрепления в скалах, объявил, что любая американская канонерка не оставила бы от них и воспоминания.

Кое-кто вооружился молотками и пробовал отколоть от древнего сфинкса кусочек «на память».

В Палестине простаки требовали, чтобы им показали все до одного упоминаемые в Библии деревья и камни. Стояла испепеляющая жара, дороги были разбиты, лошади тянули из последних сил, а паломники не ленились проехать лишние полсотни километров только для того, чтобы взглянуть на мутную лужу, из которой пила прославленная Библией ослица, вдруг заговорившая человеческим голосом. Отчаянно торговались с проводниками, навьючивали шатающихся от истощения верблюдов бутылями с водой из петляющей по пескам речки Иордан.

Вырядившись в соответствии с рекомендациями путеводителей, они деловито сновали по овеянной легендами пустыне, где царили торжественность и покой. И, кроме Твена, никто, кажется, не замечал, до чего они здесь комичны и нелепы, эти «шумливые янки в зеленых очках, с растопыренными локтями и подпрыгивающими зонтиками».

Настоящей Палестины, которая была вокруг них, они попросту не увидели: ни грязи, ни лохмотьев, ни гноящихся детских глаз, ни зловонных улочек, ни стертых до живого мяса конских спин. Был среди паломников врач, и, когда он из жалости промыл больному ребенку глаза, его тут же окружила толпа сбежавшихся со всего селения хромых, слепых, изъязвленных, увечных, — смотреть на это было страшно. Перебирая такие впечатления, Твен напишет под конец книги, что вся эта поездка больше всего напоминала ему похороны, на которые почему-то

забыли захватить покойника.

Но, засев за книгу, он постарался обо всем сказать с необходимой беспристрастностью. Да многое и врезалось в память навеки: древности Египта, венецианский Мост Вздохов, по которому уводили на медленную и мучительную смерть людей, осужденных инквизицией, развалины античных храмов, пестрая толпа на стамбульских площадях, Севастополь, только начавший отстраиваться после ужасных разрушений во время осады, широкие бульвары, проложенные на месте змеящихся переулков старого Парижа, — кстати, и баррикады теперь строить сложно, бульвар простреливается пушками напролет.

Твен хотел, чтобы его читатели смеялись чуть не над каждой страницей, и не поскупился на юмор. Он составил афишу римского цирка Колизея и сочинил будто бы выходившую у древних римлян газету, где поединок гладиаторов расписывался в точности так, как провинциальные американские репортеры пишут о гастролях кочующих артистов. Заговорив о крестоносцах, он похвалил покрытый славой меч их вождя Готфрида Бульонского, уверяя, что сам разок махнул этим мечом и рассек подвернувшегося сарацина, как сдобную булку. А говоря о церквах, в которых хранятся святые мощи, не удержался от соблазна подсчитать, что виденных им костей святого Дионисия хватило бы с избытком на два скелета и у Иоанна Крестителя было по крайней мере два комплекта собственного праха.

Он шутил — иногда грубовато. То и дело проскальзывали у него ноты самоуверенной насмешки над великими свершениями европейского искусства и над именами, которыми гордится все человечество, — над Микеланджело, над Леонардо да Винчи. Все в Старом Свете он воспринимал как американец, который умеет оценить по достоинству и комфорт новеньких отелей, и скорость на железных дорогах, и успехи в промышленности, но мало что смыслит в преданиях и художественных сокровищах, памятниках седой старины и тонкостях живописи. Им овладевало безудержное веселье и в знаменитых итальянских галереях, и при виде полуразрушенных дворцов, считающихся чудом архитектуры.

Все это становится понятным, если вспомнить, когда писались «Простаки за границей». Только что отгремела Гражданская война. Америка окрепла, она развивалась темпами, уже непосильными Европе. Едва ли не единодушно американцы были убеждены, что будущее принадлежит их родине, и еще не пришло время задуматься над тем простым фактом, что деловая хватка и богатство культуры — вещи не только не близкие, но, скорее, противоположные одна другой.

Твен тоже верил, что Америка вскоре потеснит весь остальной мир, а ее культура — простая и здоровая, не то что пропыленные европейские шедевры, до которых никому, в общем-то, нет дела, — станет таким же образцом для всего света, как американские фабрики, фермы, судоверфи. Пройдет не так уж мало лет, пока он увидит, до чего такие представления были наивны и плоски.

Ну а сейчас он подтрунивал над простаками, которые горели желанием немедленно подавить чужеземцев своим американским величием и стереть их в порошок, но и сам смотрел на многое так же, как они. В молодости не один художник испытал это наивное стремление разделаться со всеми своими предшественниками, сокрушить все до него сделанное, словно самому ему тесно, пока рядом стоят другие — и современники, и тем более мастера прошлого. С возрастом эта самоуверенность пропадает, как пропала она и у Твена. Но он был ею наделен больше, чем многие. Может быть, оттого, что ощущал в себе настоящую силу и настоящую самобытность таланта. А скорее — по той причине, что и его сильный талант все же нес на себе очень ясный след эпохи, со всеми ее заблуждениями, со всеми предвзятыми и ложными понятиями.

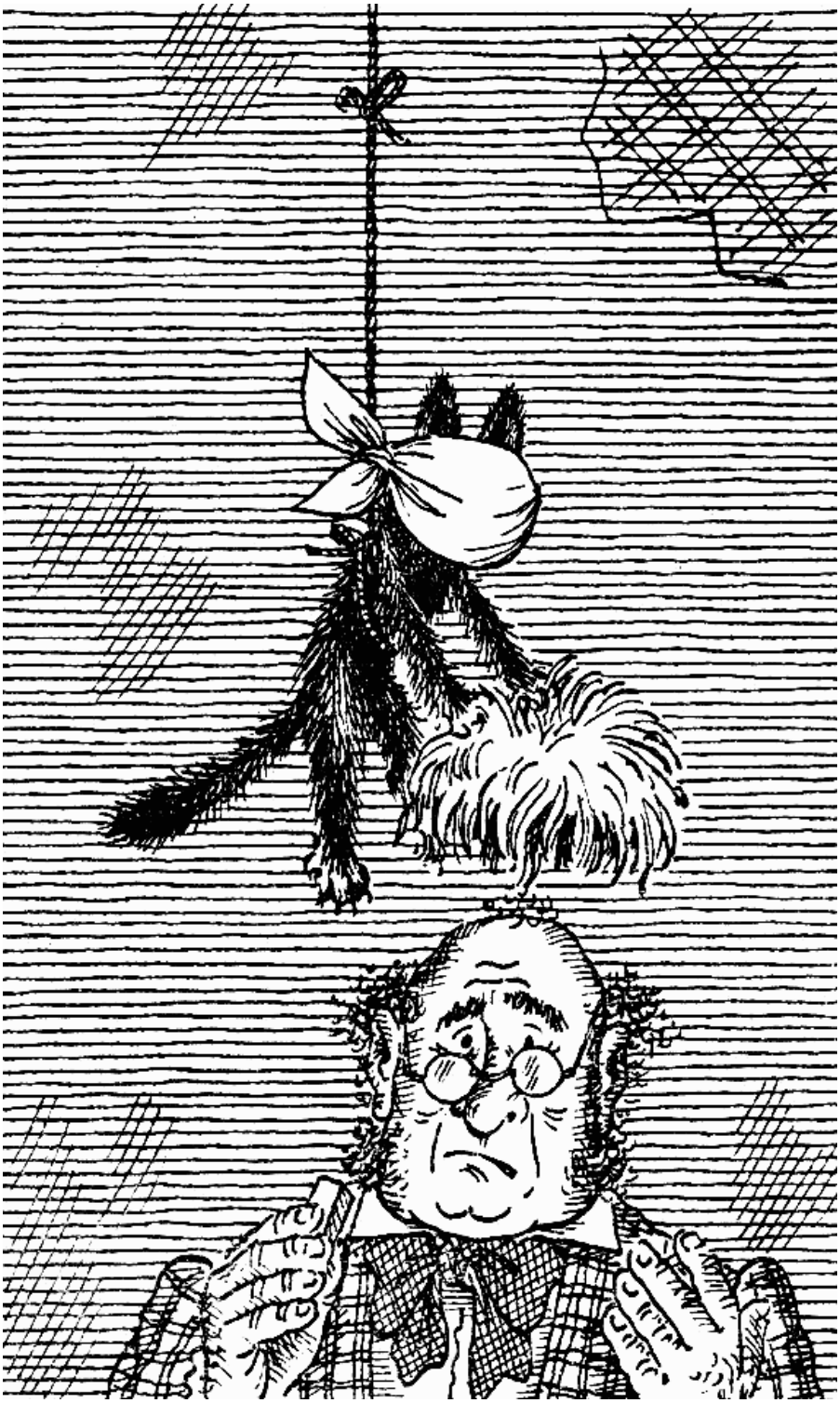
Он улыбался — искренне, радостно, беззаботно. Он предчувствовал близкий и прекрасный поворот судьбы. На «Квакер-Сити» вместе с Твеном плыл молодой человек, как-то показавший ему медальон с портретом сестры — миловидной, застенчивой, совсем юной девушки по имени Оливия Лэнгдон, дочери крупного бизнесмена, владельца нескольких угольных шахт. Два года спустя он добьется, наконец, ее согласия стать миссис Клеменс. И в этот день напишет родным: «Я так счастлив, что рвусь снять скальп с первого, кто подвернется под руку».

Минует тридцать с лишним лет семейной жизни, в которой будут свои полосы штормов и жестоких потрясений, но такой же нежной сохранится любовь и таким же стойким останется сознание счастья.

Только эти штормы, эти потрясения бесследно все-таки не пройдут: к ним прибавится и чувство горького разочарования в надеждах, которые прежде внушала Америка, и растущее неверие в справедливый мир близкого будущего, а в итоге исчезнет и беззаботная улыбка, пленяющая читателей молодого Марка Твена.

Удивительный мальчик Том

Удивительный мальчик Том



Когда Оливии Лэнгдон было шестнадцать лет, она упала,

поскользнувшись на подтаявшем льду, и получила тяжелую травму. Врачи распорядились, чтобы ей была отведена особая комната с тяжелыми шторами, которые не поднимали и в солнечные безветренные дни. С потолка свешивались специальные тросы, в стену вбили рычаги, за которые она держалась, если нужно было сесть в постели. Так она прожила долгих два года.

До конца болезнь так и не прошла. Ливи выглядела не по возрасту худенькой и малоподвижной, страдала мучительными головными болями. Единственная девочка в семье, да к тому же такая хрупкая, она была окружена повышенным вниманием братьев, слуг, родственников и приживалок, не оставлявших ее ни на минуту.

Отец Ливи, начинавший свою карьеру скромным бухгалтером в захиревшей торговой фирме, разбогател на поставках угля армии в годы Гражданской войны — к тому времени у него уже было собственное предприятие в Буффало. В делах воспитания он полностью полагался на суждения тогдашних столпов педагогики. А столпы находили, что юной девушке не подобает никаких развлечений, кроме пения в церковном хоре, прогулок под бдительным оком гувернантки да изредка поездок верхом в наглухо закрытом костюме, и, разумеется, только с совершенно благонадежными спутниками из числа кузенов или близких друзей дома.

Сызмальства Ливи пичкали нравоучительными библейскими историями, приучали к хорошим манерам и прививали такие представления, у которых не было ничего общего с реальной жизнью. Она совершенно искренне считала, что, если человек выпил лишнюю рюмку или выкурил сигару, вместо того чтобы прочитать еще одну молитву, он уже обречен гореть в адском пламени. Уже став ее мужем, Твен самым внимательным образом просматривал каждую книгу, которой она интересовалась, и вырывал шаловливые страницы из «Дон Кихота», из «Гулливера».

Что поделать, он был влюблен и подчинялся ее капризам безропотно. Кому-то из друзей он сказал: «Да я готов всю жизнь пить кофе без сахара или разгуливать в башмаках на босу ногу, если она найдет, что носки неприличны».

Джарвис Лэнгдон поначалу отнесся к юмористу, вознамерившемуся стать его зятем, без восторга. Это был по-своему неплохой человек; до войны он помогал аболиционистам, считая, что рабство постыдно в христианской стране, и даже устроил у себя одну из станций «подземной железной дороги» для беглых невольников. Однако мыслил он все-таки как делец, и Сэмюэл Клеменс был для него человек чужого круга, плебей,

полунищий щелкопер. Потребовался длительный испытательный срок, прежде чем это мнение переменилось.

Свадьба была довольно скромной, зато в качестве подарка тесть преподнес великолепный, заботливо обставленный особняк на одной из тихих улиц пропахшего фабричным дымом города Буффало.

Но вскоре над этим уютным гнездышком собрались тучи и безмятежный покой сменился тревогами и печалями. Слег и в тяжких муках отошел в иной мир отец Ливи, первенец Клеменсов родился слабеньким и ненадолго пережил деда.

Вскоре после свадьбы молодые перебрались в Хартфорд, который давно облюбовали для себя самые богатые люди Америки и ее самые почитаемые литераторы, философы, ученые. Здесь Твену было не по себе. Он не привык к подобному обществу. А общество сочло его мужланом, по ошибке затесавшимся в круг избранных.

Постоянно он ловил на себе язвительные взгляды, наталкивался на прикрытую вежливостью неприязнь и с наслаждением погружался в воспоминания о былых временах привольной жизни. Он написал книгу о Неваде и Калифорнии — «Налегке». Он написал цикл очерков о лоцманах и о реке — «Старые времена на Миссисипи».

И пришла пора взяться за повесть, которая принесет ему верную любовь подростков всех континентов и времен. В повести, увидевшей свет в 1876 году, речь шла опять о том, что Твен когда-то пережил сам у себя в Ганнибале, мальчишкой.

Это были «Приключения Тома Сойера».

Твену казалось, что он пишет для взрослых. Друзья, прослушав первые главы повести, принялись его убеждать, что эта книга — для мальчиков и девочек. Теперь такие споры кажутся нелепыми. «Тома Сойера» уже второй век с наслаждением читают и взрослые, и дети. Но в то время надо было с полной ясностью определить, кто будущий читатель произведения: одно дело, если взрослый человек, и совсем другое, если школьник. Для школьников требовалось писать поучительно и ни в коем случае не допуская никаких сцен или даже словечек, которые могли бы показаться хоть чуточку вольными, угрожающими высокой морали. Из-за любого пустяка мог разразиться целый скандал в обществе. Приходилось следить буквально за каждой репликой героев — не дай бог, они выразятся именно так, как и выражались обыкновенные ребята, очень мало похожие на собственные изображения в книгах.

Когда Гек Финн рассказывает, почему он сбежал от вдовы Дуглас, решившей положить конец беспутной жизни маленького

бродяги, он, среди прочего, жалуется, что его совсем извели слуги, с утра пораньше набрасывающиеся на него с щетками да гребешками: «Уж чешут меня и причесывают до чертиков». Твен написал эту строчку и задумался: сказать иначе Гек просто не мог, но допустимо ли помянуть чертиков в книжке, которую прочтут благовоспитанные ученики воскресных школ? Ливи, с карандашом в руках просматривавшая каждую его рукопись, чтобы вычеркнуть все «неприличное», пощадила это место, и даже ее тетушка, падавшая в обморок от упоминания нечистой силы, ничего не заметила. А все-таки «чертиков» в книжке не осталось; подчиняясь тогдашним понятиям, Твен заставил Гека сказать по-другому: «Потом тебе зверски царапают голову гребнем».

Вроде бы мелочь, но говорит эта мелочь о многом. Давным-давно забыты романы и повести, составлявшие круг чтения сверстников Тома Сойера, да и детей самого Марка Твена. Одолеть такие романы сегодня можно разве что в виде тяжкого наказания. Они безжизненны от начала и до конца. В них нет ни одного яркого слова, ни единой мысли, мало-мальски отличающейся от тоскливых наставлений проповедника или набожного школьного учителя. Повествуют они о маленькой Еве и о крошке Ролло, таких ангельски кротких, таких слезливых и чувствительных, что, кажется, сбежишь хоть на край света, лишь бы избавиться от такой компании. Трудно представить себе существо более скудоумное и ничтожное, чем другой образцовый герой этих романов, пай-мальчик, которого прославлял прозаик Горацио Олджер. Он чуть не с колыбели приучил себя из всего на свете извлекать выгоду, поступать разумно и осторожно, ни в чем не перечить старшим да откладывать в копилку цент за центом, чтобы затем вложить деньги в прибыльное дело и уже годам к двадцати сознавать себя богатым человеком, надежно обеспечившим свою жизнь.

Есть в таких книжках и «плохой» персонаж, бездельник, предпочитающий слоняться по улицам, вместо того чтобы отправиться к молитве, и водящий дружбу не с Ролло, а со всякими оборванцами да богохульниками. Ну, этот уж обязательно вырастет негодяем, и еще хорошо, если не убийцей своих же родителей. Вот красноречивый пример, куда заводит непочтение к взрослым и равнодушие к заповедям, о которых не устает напоминать с амвона пастырь душ!

Художник чувствует любую фальшь сразу же, она режет ему ухо, колет глаз. А все эти примерные мальчики и девочки были фальшивы изначально. Они были подделкой под истинных героев, как подделкой под вьющиеся волосы был парик мистера Доббинса, скрывавший от однокашников Тома Сойера раннюю

лысину этого незадачливого педагога. Помните, во время экзамена, когда удостовериться в успехах своих детей собрались самые достойные граждане городка, из чердачного люка прямо над головой учителя появилась привязанная за веревку кошка, подцепила парик и была немедленно вознесена обратно на чердак. Открылась сияющая плешь, которую проказливый сынишка местного живописца предварительно покрыл золотой краской. Открылась подлинность там, где так долго господствовала мнимость.

В каком-то смысле повесть о Томе Сойере точно так же обнажила мнимую добродетель всех этих ходульных персонажей тогдашней литературы для детей, показав, что на деле они могут называться героями ничуть не больше, чем могли бы именоваться пышными локонами патлы мистера Доббинса, сделанные из конского хвоста.

Твен много раз говорил, что ему не нравится «литература», потому что в ней слишком много приглаженности, а значит, лжи. «Литература» — это вроде воды, заключенной в канал, где она движется плавно и дремотно, покачиваясь среди прямых, взятых в гранит берегов. Но ведь «настоящий рассказ должен течь, как течет ручей среди холмов и кудрявых рощ». Если на пути ручья встанет валун или русло перегородит поваленное бревно, поток свернет в сторону, закипит, пробивая себе дорогу через каменные выступы и галечные мели, и путь воды не прервется, каким бы прихотливым и извилистым он ни оказался. А «главное — пройти свой путь; как пройти — не важно, важно пройти до конца».

Первые критики Твена утверждали, что он совсем не умеет писать, «не знает простейших правил повествовательного искусства». Трудно их осуждать за этот наивный и категоричный приговор. Они судили по тем меркам, к которым привыкли. Твен покончил с подобными понятиями о литературе решительно и бесповоротно. Он изгнал из своих книг всяческие условности и жеманнее сюсюканье, персонажей-херувимчиков и законченных маленьких злодеев, надрывные страсти, нарядные словечки и нравоучения, выписанные аршинными буквами, чтобы никто не ошибся насчет их смысла. Всей этой рухляди износившихся «романтических» шаблонов он противопоставил живое чувство, точность каждой детали, способность понять и воплотить переживания подростка, каким тот был не в книжках, а в действительности, и свободное движение рассказа, не признающего никакой заранее вычисленной композиции, которая с механической обязательностью должна подвести к выводам, высокополезным для благочестивых и нравственных юных умов.

Он верил памяти детства.

Он оглядывался не на литературные правила, а на то, что испытал и сохранил в душе сам.

Так родилась книга об этом удивительном мальчике — Томе Сойере из крохотного городка на Миссисипи, прозывавшегося, ни много ни мало, Санкт-Петербургом.

* * *

В прошлом веке американцы питали пристрастие к пышным именам. Детей называли в честь овеянных славой героев. А населенным пунктам присваивали названия знаменитых городов. Какой-нибудь поселок с двумя-тремя улицами одноэтажных развалюх да деревянной церковью, куда в полдень, спасаясь от жары, забредали собаки и свиньи, щеголял звучным наименованием Новых Афин или Восточного Ливерпуля. Или Каира. Или Москвы. Или Амстердама.

Родной город Твена окрестили именем карфагенского военачальника, чьи армии в незапамятные времена опустошали цветущие провинции Древнего Рима.

В книгах о Томе Сойере и Геке Финне Ганнибал носит название Санкт-Петербурга, хотя ни один из персонажей этих книг, разумеется, понятия не имеет о том, как хотя бы выглядела русская столица.

Должно быть, самолюбию жителей льстила мысль, что их сонный городишко хоть по названию столь же величествен и важен, как лежащая за тридевять земель Северная Пальмира, столица бескрайней Российской империи.

В свой самый последний приезд на родину — это было в мае 1902 года — Твен за какой-то час обошел все закоулки по-прежнему тихого и безмятежного Ганнибала, а дочери написал в открытке: «Господи, до чего тут все маленькое… Наверное, лет через десять, если я еще раз сюда приеду, мне покажется, что вокруг скворешники, а не дома». Но даль памяти укрупняет и события, и людей. Взявшись за «Приключения Тома Сойера», Твен погрузился в мир, давно им оставленный, а все равно для него живой, яркий, полный очарования и тайны. С дистанции в двадцатилетие, что прошло с того дня, как Сэм Клеменс сел на пароход, отправлявшийся из Ганнибала в Сент-Луис, многое в этом мире казалось и лучше, и значительнее, чем было на самом деле. Да и как иначе? Ведь Ганнибал был его духовной родиной, а не только городом, где протекли детские и юношеские годы, самые богатые и впечатлениями, и переживаниями, и неуемной жадностью к жизни, тогда еще представлявшейся бесконечным

счастьем и радостью, всерьез не омрачаемой ничем на свете.

И в повести о Томе подлинный Ганнибал с его вдоль и поперек исхоженными Сэмом проулками, где буйно разрослась сорная трава, незаметно, но постоянно утрачивает реальные очертания, становясь царством мальчишеской вольницы и безоблачного, блаженного покоя, хотя в действительности родной город Твена никогда не был таким солнечным, райским уголком.

Очень непросто уловить черту, за которой кончается в этой повести достоверность и начинается сказка — искрящаяся весельем, безыскусная и светлая, точно ее сложили сами подростки из Ганнибала, а не написал когда-то верховодивший ими, но давно ужо выросший, ставший профессиональным литератором Марк Твен.

Секрет здесь в том, что и сказка насыщена такими подробностями, которым мы верим сразу же, потому что они жизненны. О тех реальных людях, которые в качестве персонажей выведены на страницах «Тома Сойера», литературоведам удалось кое-что разузнать (а кое-что сообщил сам Твен), и выяснилось, что в жизни они были не совсем такие, как в повести. Ну, например, вдову Дуглас в действительности звали миссис Холлидей, и она вправду отличалась гостеприимством, заботливостью и щедростью. Но в повести Твен умолчал, что этой миссис Холлидей больше всего в мире хотелось снова выйти замуж, она заманивала к себе возможных женихов, намного ее моложе, и еще гадалок, которым всегда сообщала, что в юности ей напророчили трех супругов, а пока был только один. Миссис Холлидей была по-своему симпатичная, радушная женщина — это в книге осталось, а вот о том, насколько убогими мыслями и желаниями она жила, Твен решил не упоминать. В «Томе Сойере» буквально каждая глава должна была светиться радостью. А если на горизонте героев появлялись предвестия бури, то и буря в конечном счете оказывалась нестрашной — быстро проносилась, не причинив ущерба, и мир снова сиял первозданной красотой. И люди должны были быть под стать такому миру — чуточку смешные, добрые и ласковые, ну разве что за исключением Индейца Джо да еще учителя Доббинса.

Под пером другого писателя, наверное, дала бы себя почувствовать умиленность этой кажущейся гармонией, а стало быть, пробилась и неверная нота. Но ничего этого нет у Твена. Он описывал историю своих ранних лет, и в главном он был верен правде. До него американская литература не знала художника, способного с подобной неукоснительной верностью воссоздать мысли, интересы, побуждения, чувства, весь строй души совсем еще юного героя, у которого, однако, свои твердые понятия об

окружающей жизни, свой взгляд на вещи, своя логика. Нам эти понятия и эта логика могут показаться наивными, забавными, может быть, и нелепыми, но мы и на секунду не усомнимся в том, что подростки, жившие в Санкт-Петербурге на Миссисипи, могли думать и чувствовать только так, как показал Твен.

И оттого мы как бы все время рядом с ними, деля все их тревоги и радуясь всем их удачам. Это мы сами, а не только Том с Геком, погружаемся в звенящую тишину летнего полдня. И ищем сокровища в таинственных опустевших домах горожан, которые разъехались кто на Запад, кто на Юг. И подкладываем ужей в рабочую корзинку тети Полли, наслаждаясь ее испуганными криками. И томимся в воскресной школе, придумывая что-нибудь необыкновенное, — прорываем подземный ход, ведущий через два океана прямехонько в Китай, вывешиваем черный пиратский флаг на корме полусгнившей барки, которой доберешься разве что до Джексонова острова посредине реки.

Этот пустынный остров лежал в миле от Ганнибала, и Сэм с приятелями проводил там дни напролет. Назывался он остров Глескока. Во времена детства Твена на нем жили тысячи черепах — порывшись в горячем песке, легко было набрать целую сковородку мелких яиц. В заводях кишела крупная рыба, ее можно было поймать удочкой и даже рубашкой.

А когда остров, приютивший трех знаменитых пиратов из Санкт-Петербурга — Тома, Гека и Джо Гарпера, — был исхожен вдоль и поперек, в запасе всегда оставалась пещера Мак-Дугала, где будут плутать Том и Бекки и найдет свой конец Индеец Джо. Это была пещера Макдоуэлла в двух милях на юг от Ганнибала. Говорили, что в свое время она служила укрытием разбойников, орудовавших на Миссисипи, потом — сборным пунктом шайки Мореля, той, которая занималась сманиванием и перепродажей рабов. Да и много других страшных историй рассказывали про эту пещеру, нескончаемыми галереями уходившую глубоко под землю, так что ни один человек не знал ни ее точного плана, ни всех ее тайн.

Кажется, чего было проще — припомнить разные разности из далекой детской поры да и описать все так, как происходило с самим автором, когда он был десятилетним мальчиком в тихом городе Ганнибале. Но и книга получилась бы другая. Получились бы мемуары. Если их пишет незаурядный человек, они бывают удивительно интересными. У Твена тоже есть книга воспоминаний — «Автобиография». Это прекрасная книга, умная, богатая наблюдениями и иронией. И все-таки во всем мире читают прежде всего «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Их читают уже целый век.

Сегодня их любят не меньше, чем сто лет назад, когда Том и Гек впервые представились читателю.

Наверное, все дело в том, что эти повести — больше, чем автобиография Сэмюэла Клеменса, который их написал. В них есть то, что не умирает со смертью человека, который прожил свою жизнь и под старость оглянулся на нее, чтобы снова перебрать и самые радостные, и самые печальные страницы, подводя итог. В них есть чудо искусства.

Художник прикасается к такой ему знакомой и такой на вид безликой, бесцветной провинциальной американской жизни прошлого столетия. И за ее скучной размеренностью он обнаруживает удивительное богатство. Однообразие бестревожного быта вдруг расцвечивается яркими красками не книжной, а, истинной романтики. Мир овеян тайной, в нем все захватывающе интересно, неожиданно. И сколько чудес, сколько поразительных случайностей на каждом шагу!

Ничего этого, разумеется, не увидеть, привыкнув к будничности и перестав замечать за нею жизнь — бесконечную, всегда изменчивую, вечно новую в своем переливающемся многоцветье. Для ребенка будничности не существует. Вероятно, в любом сорванце-ветрогоне скрывается художник, потому что ведь и у художника обязательно должно быть это не притупленное, острое зрение, эта способность распознать оттенки и полутона там, где для других господствует лишь одна серенькая и тоскливая тональность.

Оливия Клеменс называла своего седоусого мужа Мальчик — из нежности.

Писатель, создавший книги о Томе и Геке, и впрямь был мальчиком — по обостренности восприятия, по той детской доверчивости к чуду, без которой не было бы самих этих книг.

Кто бы из ганнибальцев мог предположить, что их неказистый городишко способен предстать перед миллионами читателей таким редкостно колоритным и притягательным местом, как родина Тома и Гека! Им-то казалось — город как город, неотличимый от тысячи других, разбросанных по американским просторам от океана до океана. А под пером Твена это была сказочная земля. Воздух здесь напоен ароматом цветущих белых акаций, и изумрудными переливами сверкала вымытая июньской грозой зелень на Кардифской горе. Блаженная тишина стояла в летнем воздухе, только пчелы деловито жужжали, собирая пыльцу в разросшихся, запущенных садах. Ни дуновения ветерка, густеет дымка зноя, и парят в бездонном небе над широко разлившейся рекой одинокие птицы.

Дремлет природа — лишь постукивает вдали дятел да

изредка проскрипит по главной улице телега, неспешно поднимающаяся от пристани к старой кожевне за пустующим трактиром. И весь Санкт-Петербург погружен в эту сладкую дрему, мирный, счастливый городок, пусть его сколько угодно называют захолустьем, где никогда ничего не случается.

Твену хотелось, чтобы, закрыв книгу, его читатель сохранил ощущение ничем не нарушаемого покоя, гармонии и счастья. Мы знаем, что в Ганнибале происходили события и пострашнее, чем нежданная встреча Тома Сойера со своим заклятым врагом Индейцем Джо в пещере. Придет время, и об этих мрачных сторонах жизни своего родного города Твен тоже расскажет — уже в книге о Геке Финне, да и не только в ней. Но в «Томе Сойере» о них еще не заходит речи. Том, быть может, и догадывается, что не так-то все лучезарно и празднично в Санкт-Петербурге. Ведь убили же у него на глазах доктора Робинсона, которому для занятий анатомией потребовался труп, хотя в те годы церковь решительно запрещала производить вскрытия. Ведь если бы не его, Тома, смелость, не миновать бы виселицы ни в чем не повинному Меффу Поттеру, которого толпа готова была растерзать, не дожидаясь суда.

Впрочем, если героя Твена и посещают мысли о том, что жизнь сложна и таит в себе жестокие драмы, то вслух он этих мыслей не высказывает. В конце концов, он всего лишь мальчишка, пока почти и не соприкасавшийся с миром взрослых, живущий собственными интересами, собственными детскими увлечениями и надеждами. А у Тома такой уж характер, что ему бы только играть, выдумывать все новые и новые приключения, отдаваясь им самозабвенно.

Но дело не только в характере Тома Сойера.

Твен писал свою повесть, когда давно ужо осталась позади Гражданская война и высоко взметнулись волны деляческого ажиотажа, который уродовал души, порождая столько кричащих несправедливостей, что сама действительность Америки внушала чувство тревоги и разочарования. Вспоминая Ганнибал, каким тот был сорок лет назад, писатель не мог не поразиться контрасту — как все с тех пор переменилось! И достаточно было просто сопоставить минувшее с нынешним, как сразу же то давнее время окутывалось пеленой сладких воспоминаний, казалось чуть ли не безмятежным на фоне нездоровой, суетливой эпохи, пришедшей ему на смену. Из этих воспоминаний, из этих сопоставлений и возникал образ «зеленой долины, залитой солнцем», теперь уже поруганной, но в былые — и не такие уж давние — времена представлявшей собою обитель радости, довольства, счастья.

И оставалось только гадать, зачем же сам Сэмюэл Клеменс

сбежал из этой обители в Неваду и не возвращался в края своей ранней юности столько лет, зачем, так много вложив от самого себя в Тома Сойера, он великому множеству и юных, и взрослых читателей внушил иллюзию, будто и его мальчишеские годы были сплошным праздником и бесконечной веселой игрой, хотя он-то ведь еще малышом узнал, почем фунт лиха.

Твен черпал из своего непосредственного опыта, но писал все-таки не о себе самом. Он писал об особой стране по имени Детство, которую первым по-настоящему и открыл для американского читателя. И он был убежден, что нет и не может быть страны прекрасней, чем эта. Одна беда — провести в ней всю жизнь невозможно: для каждого приходит время прощания, и с возрастом неизбежно черствеет сердце, ослабевает воображение, глохнет врожденное и безошибочное чувство справедливости.

Повсюду вокруг Тома и Гека властвует будничный распорядок, которому подчинились взрослые. Но пока еще так легко от него сбежать, с головой уйдя совсем в другой, увлекательный и чудесный мир. Санкт-Петербург действительно замечательное местечко — здесь никакое бегство не страшно, ведь все это игра.

Можно разыграть свою же гибель в реке, подняв на ноги весь городок, и преспокойно наслаждаться привольными деньками на острове, а затем произвести фурор, явившись в церковь на собственные похороны, как это довольно часто происходило с мнимыми покойниками из рассказов, сложенных на фронтире.

Можно пережить нешуточную опасность, блуждая по мрачным коридорам пещеры, но и это приключение, конечно же, кончится счастливо, а наградой за него будет найденный клад, осуществившаяся мечта любого подростка.

Да, все это могло происходить только в Санкт-Петербурге, штат Миссури, и во времена, которых уже не вернуть. Страна детства соединилась в представлении Твена с той идеальной страной, которой, как ему казалось, могла бы стать Америка, если бы только люди доверяли велениям своей души, а не расчетам да укоренившимся предрассудкам и сохранили верность собственной своей доброй природе, а не ими же выдуманным нормам существования, подчиненного корыстолюбию, практичности, набожности и культу пользы, хотя до чего же эта польза безлика и скучна.

В Томе Сойере соединяется все самое лучшее, что была бы способна создать Америка, избавленная от пороков и уродств делячества, и та не стесненная никакими условностями свобода чувства и души, какая исчезает вместе с детством.

Именно поэтому Том всегда останется живым и

притягательным для всех мальчишек мира.

Он в самом деле удивительный мальчик, этот Том Сойер. В толпе своих ровесников он не затеряется, потому что Том — это личность, но чета благонравному Сиду или чистюле Альфреду Темплю. Сколько он доставил хлопот своей старой тете Полли да и всему Санкт-Петербургу! Но ведь он не просто развлекается, как умеет. Он смышлен, смел и наблюдателен. И он справедлив не только когда преследует тихонь да подлиз. Нужно спасти Бекки, над которой уже занесена розга плешивого учителя, — и Том, настоящий рыцарь, заслонит свою избранницу, вытерпев порку без единого стона. Нужно защитить неповинного Меффа Поттера, которому грозит казнь, — и он, отбросив страх, выступит на суде, хоть и чувствует в упор на него наставленный тяжелый взгляд Индейца Джо.

Кажется, он такой же, как все, — озорник, который морочит старших, дерется, мирится, затевает игры одну интереснее другой. Да, он от души ненавидит заученные добродетели и тупую самонадеянность примерных мальчиков. Найденный в траве клещ для него куда интереснее всей школьной премудрости. Дохлая кошка, с которой следует отправиться в полночь на свежую могилу, чтобы вывести бородавки, в его глазах куда ценнее той Библии с картинками, что он получил за мнимые успехи в воскресной школе. Что-то там толкуют про ожидающую его богатую и сытую жизнь, если только он будет хорошо себя вести, прилежно учиться и слушаться мистера Доббинса, а также тетю Полли и проповедника. Какая тощища! То ли дело стать пиратом, Черным Мстителем Испанских морей, который носится по неспокойным волнам на корабле «Демон бури». Или разбойником, скрывающимся в густом лесу на том берегу реки. Разбойником даже лучше — лес неподалеку от города, можно будет наведываться к родным, да и цирк не пропустишь, если он вдруг опять приедет.

Ну, да много ли наберется ябедников сидов или смиренных отличников темплей в любой толпе мальчишек? Таких, как Том, всегда будет гораздо больше. Детство — это романтика, равнодушная к послушанию и прилежанию. В детстве все дороги открыты, все замыслы достижимы, все мечты не беспочвенны. И кто же будет мечтать лишь о похвале школьного наставника, если приятель всерьез задумал что-нибудь дерзкое и захватывающее — сделаться Робин Гудом, улететь через океан на воздушном шаре…

А все же Том Сойер один, он не похож ни на Джо Гарпера, ни на Бена Роджерса, ни на других юных обитателей Санкт-Петербурга. Он один, потому что никто, кроме Тома Сойера, не умеет так непринужденно превращать тягучие будни в

подлинный фейерверк выдумки и фантазии, романтики и игры. Ни в ком, кроме Тома, нет этой способности преображать самые скучные минуты в настоящие праздники, когда мир становится бесконечно интересным, красочным, таинственным и веселым в любом, на вид вовсе не привлекательном своем проявлении.

В Томе и Геке не просто воплощена — в них торжествует живая, вольная жизнь. Она сметает на своем пути всякую неправду, теснит всякую окаменевшую нормальность, открывая путь творчеству, пусть оно выражено только изобретательностью проделок, остроумием розыгрышей, талантливостью необычных игр и затей. Все равно это по сути своей творчество, потому что игра опрокидывает, высмеивает серьезность установленного взрослыми порядка. Она с полной очевидностью выявляет, до чего чужды человеку — по самой его природе — все эти правила благочестия и усердия, которые потом вознаградятся солидным положением в обществе и почтительными поклонами сограждан.

Еще в конце XVIII века, когда Америка только боролась за независимость, снискал себе громкую известность ученый и философ Бенджамин Франклин. Это был выдающийся человек: о нем знала вся образованная Европа, петербургская Академия наук избрала его своим почетным членом. Франклин изучал электричество и изобрел первый молниеотвод. Он много сделал и на поприще экономики, и на ниве политики, и на стезе культуры — издавал «Альманах простака Ричарда», служивший тогдашним американцам излюбленным семейным чтением, открыл в Филадельфии первую общественную библиотеку, там же основал университет.

Имя Франклина и через много лет после его смерти в 1790 году было окружено в США глубоким уважением — и не напрасно. Конечно, Франклин мыслил как человек своего времени, эпохи Просвещения. А его идеи превратили в догму, обязательную для всех и каждого. Он происходил из среды ремесленников, был небогат и трудно пробивал себе путь в жизни. Оттого-то ему и представлялось, что самое важное — это старательность, умение во всем себя ограничивать, стремясь к одной цели, к признанию современников, которое гарантирует солидный счет в байке.

Как все просветители, Франклин верил в безграничное могущество разума и исконную непорочность человеческого сердца. Но последователям не было дела до его философских убеждений и тем более до истории, которая показала наивность этих прекраснодушных взглядов. Последователи усвоили лишь прописные истины вроде того, что плохо быть лодырем или гулякой, да плоские советы пораньше вставать, побольше

работать, почаще посещать церковь, чтобы примерной жизнью заслужить одобрение свыше, которое выразится и в удачах деловых, практических.

Эти прописи, эти назидания вдалбливались в головы многих поколений американских подростков. Сэм Клеменс их тоже наслушался предостаточно и питал к ним самое искреннее отвращение. Работая над «Томом Сойером», Твен вспомнил о них еще раз. Мы от души смеемся над хитроумной уловкой Тома, который заставил приятелей выкрасить вместо себя забор, да еще взял с них за это мзду алебастровыми шариками и хлопушками. И мало кому приходит в голову, что эти знаменитые страницы «Тома Сойера» являются самой настоящей пародией. «…Всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее», — чуть не дословно цитируя Франклина, внушает своему племяннику тетя Полли, вознаградив Тома за побелку лучшим яблоком из кладовой. Но получилось-то как раз наоборот: была бы голова на плечах — и безделье окажется самым верным путем к богатству!

Том Сойер, нечего и говорить, Франклина никогда не читал и даже о нем не слышал. Но и ему прожужжали уши благими рекомендациями насчет высокой честности, старания, опрятности, трудолюбия, строгой морали и еще множества замечательных, только уж больно нудных вещей в том же роде. Вот он на свой лад и бунтует против таких рекомендаций: потихоньку выливает воду из таза для умывания, а потом усиленно трет немытую физиономию полотенцем; или выдумывает неведомую медицине болезнь, лишь бы не ходить в школу. Инстинктом, который не обманывает, он давно уже понял, что мальчики, которых ему ставят в пример, все эти «юные друзья трезвости», любимчики священника, ведающего воскресной школой, отрада своих христолюбивых мамаш, уже и сейчас непереносимы, а вырастут пустоцветами и будут нагонять тоску на каждого встречного, сколько бы ни нахваливали их отменные душевные качества.

Но принципы у Тома есть, и даже очень строгие. А самый важный из них — доверие к истине, не вычитанной из книжек, не позаимствованной из проповедей да назиданий, а добытой собственным опытом, подсказанной собственным чувством. Том всегда ведет себя естественно — так же естественно, как гнется под ветром трава, расцветают по весне деревья, поют на рассвете птицы. Да он ведь и вправду частица самой природы, этот сирота, которому меньше всего свойственны Сиротские настроения, этот фантазер, готовый ради очередной озарившей его идеи преодолеть любые препятствия и немедленно отправиться хоть на

край света.

Он бывает и жестоким, но не осознает этого, как не осознает своей жестокости природа, когда ураганом крушит дома или насылает наводнения. Кокетство Бекки и незаслуженная порка, которой его подвергла из-за сахарницы тетя Полли, право же, не такая большая обида, чтобы, притворившись утопленником, несколько дней терзать родных, уже приготовивших траурные костюмы для церемонии отпевания. А пунцовый шарф, который можно будет надеть на похоронах судьи, не такая уж великая радость, чтобы желать умирающему поскорее отправиться в лучший мир. Но для Тома все приключающееся в мире — это игра. Он не знает и не хочет знать той черты, за которой игра превращается в опасность или в тяжкое испытание для взрослых. Да, впрочем, опасности ведь неизменно преодолеваются, а испытания на поверку выходят мнимыми. Так стоит ли печалиться, что в своих проказах Том порой хватает лишку?

Может быть, Том проявлял бы больше благоразумия, не начитайся он всякой дребедени про выдающихся авантюристов и про неистовую любовь, про пиратов, крестоносцев и отшельников, презревших жалкую суету жизни и удалившихся в пещеры и леса с гордым сознанием своей отверженности. У писателей-романтиков — Байрона, Вальтера Скотта, Гюго — любовь всегда выглядела всепоглощающей, а какой-нибудь гордый корсар, бросающий вызов всей вселенной, или рыцарь, отправившийся сражаться с сарацинами, чтобы выжечь память о перенесенном у себя на родине оскорблении, представали настоящими героями. Но времена романтиков давно прошли. Зато характерные для них персонажи, мотивы, стилистика — все это сделалось добычей мелкотравчатых подражателей и просто литературных халтурщиков, наводнивших книжные лавки высокопарной беллетристикой в романтическом духе. Эти-то вот неуклюже скроенные романы и проглатывал Том Сойер, честно старавшийся в своем не слыхавшем ни о какой романтике Санкт-Петербурге соблюдать нормы этикета, принятые у демонических аристократов и коварных томных красавиц, про которых было написано в его книжках.

При этом он неизбежно попадал в комичные, а то и в дурацкие положения. Достаточно вспомнить, как он ухаживал за Бекки, — по всем литературным правилам, хоть Тома и подвело незнание анатомии, когда полагалось прижать к сердцу брошенный дамой цветок. «Туманные и величавые высоты романтики» притягивают его воображение, и он размышляет о том, что «пора покончить с постылой жизнью», поскольку дама отвергла его царский дар — шишечку от каминной решетки; он

совершенно искренне чувствует себя бесприютным странником в пустынном мире, бежавшим от равнодушных и бесчувственных людей вроде тети Полли, проучившей его за смелые медицинские опыты с котом.

Но возвышенные мысли влюбленного под окном Обожаемой Незнакомки по имени Бекки Тэчер прервет служанка, выплеснувшая на улицу ведро воды, а место последнего успокоения Гонимого Страдальца окажется заросшим крапивой, так что придется побыстрее вскакивать да потирать обожженные голые пятки. Твен был реалистом, ему безмерно докучали вялые романтические цветы, еще повсюду доцветавшие на ниве тогдашней американской словесности. И в «Томе Сойере» он высмеял все эти ненатуральные страсти, искусственно нагоняемую меланхолию и плетение бессмысленных, зато «красивых» словес, пленившее его героя в грошовых повестях из великосветской жизни.

Твен знал, что у Тома слишком здравый природный ум и слишком отзывчивая душа, чтобы со временем вся эта шелуха изысканности и утонченности не показалась сущим вздором ему самому. Она, конечно, осыплется, и под ней обнаружится наивно и комично выраженное, но по сути чистое и высокое чувство, которое, пожалуй, лучше всего назвать жаждой жизни — насыщенной, яркой, нешаблонной.

Том романтик по своей природе, а вовсе не потому, что он усвоил романтический стиль поведения и строй переживаний. Это большая разница. Ходули, на которых расхаживали персонажи затрепанных «романтических» книжек, Твену, разумеется, были смешны, но никогда не казалась ему ходульной истинная романтика, если под нею понимать увлеченность мечтой, бескорыстие помыслов и стремление к справедливости.

Его любимым писателем был великий Сервантес, автор «Дон Кихота». Том Сойер каким-то образом раздобыл эту книгу, выкопав ее из-под груды жалких поделок, в которых расписывались подвиги контрабандистов да печали томящихся ожиданием возлюбленного невест-герцогинь. Подобно тому как Твен высмеивал в своей повести избитые красивости запоздалых романтиков, Сервантес за два с половиной века до «Приключений Тома Сойера» пародировал нелепости романов про рыцарей, живущих в каком-то совершенно нереальном, безжизненном мире. Герой Твена ничего этого не понял, вполне серьезно отнесясь к подвигам идальго из Ламанчи, так потешавшим его верного оруженосца Санчо Пансу.

И все же в Томе Сойере есть очень много близкого прославленному рыцарю Печального Образа. Он добр и чуток к

чужой беде. Он благороден — не по рождению, а по поступкам в ситуациях, непростых для десятилетнего мальчика из американской глубинки. А главное, как и Дон Кихот, Том Сойер не способен выносить жизни заурядной и приниженной и расцвечивает повседневность пышными красками воображения, веря в свою же выдумку и не смущаясь даже самым очевидным несовпадением фантазии и реальности.

Поэтому так трудно представить его взрослым. Твен не раз задумывал продолжение книги, но, как только доходило до необходимости изобразить Тома выросшим и отыскавшим себе какое-то место в стране, где серьезные люди живут деловой, степенной жизнью, перо опускалось: для подростка из Санкт-Петербурга там просто не было места. Да и что ему делать среди коммерсантов и крючкотворов, святош и ханжей или хоть среди обывателей какого-нибудь захолустного поселка с их куцыми понятиями и тупым однообразием быта? Дон Кихот оказался бы фигурой настолько чужеродной в Америке после Гражданской войны, что мог бы вызвать разве что жалость, если не насмешку. И Том навсегда остался мальчишкой, пламенным романтиком и отчаянным сорвиголовой из крохотного американского городка на Миссисипи, бунтарем и верховодом, гордо несущим через время свою независимость и свою верность мечте.

На плоту

На
полу

Ну а Гек Финн? Гек совсем другой — и по характеру, и по

своим понятиям, и по воспитанию.

Впрочем, какое уж там воспитание! Вдове Дуглас, решившей усыновить Гека, потребовалось объяснять ему все с самого начала: зачем люди умываются, зачем, перемазавшись, надо переодеваться и почему в церкви нельзя ловить мух и жевать табак. У нее это не очень получалось. Гек любил лес, реку, бочки да дровяные сараи, где привык ночевать. А когда он всего этого лишился, то не соблазнили его ни обильные завтраки, ни нарядные костюмчики, ни заботливость вдовы, так причитавшей над «бедной заблудшей овечкой». Он предпочел бегство.

Совсем его доконала мисс Уотсон, любительница потолковать про райские кущи, где ходи себе с арфой да распевай день напролет. Уж от такого-то блаженства Гек и подавно готов был удрать при первом удобном случае. И все придирки, придирки… Разве с ними смирится его вольная душа?

Беда в том, что укрыться-то Геку негде. Родитель его — старый пьяница и сквернослов — прослышал про находку в пещере, так что, того и гляди, явится за денежками. Это для Гека с его простым и разумным представлением о вещах: «Быть богатым вовсе не такое уж веселое дело. Богатство — тоска и забота, тоска и забота… Только и думаешь; как бы скорей околеть». А для старика Финна, какой он ни забулдыга, деньги, да еще даром доставшиеся, разумеется, желанней всего в мире. И подвернувшегося случая поправить незавидные свои дела он не упустит, пусть даже придется выкрасть сына у вдовы и спрятать в глухой приречной чащобе.

У него в хибаре с земляным полом, заменяющей дом, ни умываться, ни наряжаться не надо. Только Геку от этого не легче. Вдова не давала ему проходу своими нежностями да причитаниями, мисс Уотсон — проповедями да сентенциями, а отец больше надеется на плетку да кулак. Но если разобраться, никому из них до Гека нет дела. Кто ищет утешения одинокой старости, кто рад лишний раз поупражняться в ханжеском благочестии. А папаше только бы выколотить за Гека хорошенькую сумму, чтобы потом всласть покуражиться в кабаке. Гек одинок и, собственно, никому не нужен.

Впрочем, и Гек никогда ни на кого не рассчитывал, зато и не зависел ни от кого. И сама жизнь выработала в нем трезвый, земной, мы бы сейчас сказали — реалистический взгляд на любые события и явления, хотя и страсть к приключениям, и любовь к игре остались у него не притупленными.

Если Том схож с Дон Кихотом, Гек гораздо больше напоминает Санчо Пансу — не верящего в высокую иллюзию, порой лукавого и насмешливого, когда его хозяин уж слишком

самозабвенно отдается грезе, но преданного своему идальго беспредельно и раз за разом выручающего его в тяжкие минуты.

В жизни Том и Гек все время должны быть рядом, хотя они и очень разные. И особенно хорошо это видно в истории с освобождением беглого раба Джима. Когда Том прибыл к тете Салли и нежданно-негаданно встретил старого приятеля, которого числил погибшим, он знал, что Джим уже свободный человек: перед своей смертью мисс Уотсон, мучимая угрызениями совести, подписала соответствующую бумагу. Но пока что Джим, ставший жертвой низкого обмана, сидит под замком в сарайчике и ждет аукциона. А значит, можно устроить ему побег — только при том обязательном условии, чтобы все было так, как в книжках про Железную Маску и про авантюриста Казанову, вырвавшегося из венецианской темницы, куда его швырнула святая инквизиция. Чем эта затея кончилась, все, конечно, хорошо помнят: и как собрались в доме тети Салли полтора десятка окрестных фермеров, наэлектризованных подметными письмами от «неизвестного друга», и как Тому прострелили ногу, а Джим, помогавший выходить раненого, покорно дал себя связать и отвести обратно в сарай.

Но здесь всего интереснее детали интриги, которые многое говорят и о Геке, и о Томе. Сарайчик был старенький и непрочный, а Джима содержали без строгостей: никто не мешал юным похитителям просто отодрать доску, снять с ножки кровати цепь и отправиться вместе с пленником на все четыре стороны. Только Том Сойер ни за что бы не согласился сделать, как подсказывал здравый смысл. Без таинственности побег теряет для него всякий интерес. И чего только он не нагородил, увлекшись новой занимательной игрой!

Гек подчиняется этим прихотям приятеля, помогая морочить добряка дядю Сайласа и ловко заговаривая зубы неграм, пока Том не стащит несколько жестяных тарелок, на которых узник будет писать «записки» своим избавителям. Что ни говори, Том много читал, растет в нормальной семье, ходит в школу, так что ему виднее.

Но при этом Гек прекрасно сознает, что они играют, а надо бы заняться серьезным делом как следует. И когда фантазии Тома становятся уж слишком безудержными, он умеет остановить воспламенившегося своей идеей романтика. А думает он все об одном и том же: неужели Том не боится опозорить в глазах соседей и себя, и тетю Полли, совершая столь тяжкий грех, как содействие беглому невольнику? Для жителей рабовладельческих штатов вряд ли существовало преступление более непростительное. И в этом они были единодушны. Даже тетя

Салли — такая приветливая, ласковая, сердечная — смотрит на негров, разумеется, только как на собственность, а собственность неприкосновенна. Геку надо объяснить ей, каким образом его не оказалось на пароходе, который ездил встречать дядя Сайлас, и он тут же выдумывает историю с взорвавшимся цилиндром, задержавшим его корабль на целый день. «Господи помилуй! Кого-нибудь ранило?» Убило негра. «Ну, это вам повезло; а то бывает, что и людей ранит». Из белых, конечно, так как негры не в счет, они не люди.

Под конец выясняется, что Том ничуть не рисковал своей репутацией: Джима уже отпустили на свободу и побег был только очередной романтической выдумкой маленького Дон Кихота. Но Гек-то ведь этого не знал. Зато он вполне отдавал себе отчет в том, на что идет, укрывая беглеца, а потом пытаясь его освободить. Для белого на невольничьем Юге, кем бы этот белый ни был, подобный поступок означал вызов всему незыблемому порядку вещей, посягательство на священные основы, отступничество от принципов, на которых держалась здесь жизнь. Решился бы или не решился на такое Том Сойер — гадать бессмысленно. Гек решился. И это самое важное в книге.

Написать о Геке Твен задумал сразу же после того, как были напечатаны «Приключения Тома Сойера». Взялся за работу, быстро придумал сюжет, и уже через полгода у него было готово шестнадцать глав — до той главы, в которой плот с Геком и Джимом проскакивает в тумане мимо устья реки Огайо, служившей рубежом свободных штатов, и рушится план на пароходе добраться по Огайо в места, куда работорговцы не совали носа. Теперь плот может плыть только на Юг, с каждой милей отдаляясь от границы между территорией, где нет рабства, и штатами, где оно узаконено. В этих штатах белые не просто могут, а обязаны охотиться на беглецов, как на диких зверей. Любая пристань, любой поселок оклеены здесь объявлениями о беглых рабах с точным описанием примет и обозначенной суммой вознаграждения за поимку.

Как же поступит в этой крайне сложной для него ситуации Гек Финн? На первой же остановке отправится к шерифу и положит в карман сотню-другую долларов, когда Джима закуют в цепи и возвратят мисс Уотсон? Другие, скорее всего, так бы и сделали, но для Гека это немыслимо. А если он решится укрывать Джима, прятаться с ним на пустынных островах и плыть ночью, вдохновляясь смутной надеждой, что плот кто-нибудь купит и на вырученные деньги можно будет приобрести два билета в свободные штаты, то тем самым он навсегда отрежет себе путь домой, в Санкт-Петербург, который ему этого никогда не простит.

Способен ли подросток, который, как и все на Миссисипи, привык видеть в рабстве естественный, чуть ли не свыше ниспосланный закон, на такой подвиг, на такой переворот всех своих представлений? Вынесет ли подобное напряжение?

Допуская эту возможность, Твен, однако, еще не решал возникшей проблемы. Ведь получалось, что правота на стороне Гека, нарушившего заповедь, которую Санкт-Петербург почитал непоколебимой для всякого своего обитателя. А значит, заповедь была ложной, и весь распорядок жизни в Санкт-Петербурге основывался на лжи, на угнетении и насилии. Но еще в «Томе Сойере» родной городок Тома и Гека выглядел просто земным раем, и ни одна туча не омрачала небо над этой зеленой долиной, полной поэзии и тайны. А теперь выходило, что и это безоблачное небо, и этот бестревожный сон, в который погружен Санкт-Петербург, — лишь иллюзия, скрывающая горькую, суровую правду. И надо было коренным образом менять всю интонацию повествования, всю его окраску и тональность.

Рукопись книги о Геке была отложена — и надолго. Твен странствовал по Европе, писал смешные очерки, напоминающие «Простаков за границей», потом, в 1882 году, предпринял большую поездку по местам, где прошло его детство. Заброшенная повесть не давала ему покоя, он несколько раз возвращался к ней, но дело не ладилось. Писатель рвал испещренные поправками листы, проклинал тот день, когда выдумал Гека Финна. В нем происходила тяжкая внутренняя борьба. Еще очень прочно держались заблуждения насчет особого удела Америки, которая при всех издержках роста со временем должна была, как казалось Твену, сделаться страной, где каждый узнает и настоящую свободу, и настоящее счастье. Но все сильнее давали себя почувствовать и совсем другие настроения — усталость, разочарование, ощущение несбыточности радужных надежд, которые не подтверждала, а опровергала американская действительность.

Лишь через семь лет после того, как были написаны первые страницы, Твен, преодолев свои колебания, вернулся к книге о Геке, и в 1884 году она была завершена. Он переделал злополучную шестнадцатую главу, и она стала ключевой во всей повести. В этой главе Гек ведет мучительный спор с самим собой. Он впервые задумывается над тем, что же он делает. Еще на Джексоновом острове Джим откровенно ему признался, что, случайно услышав о планах мисс Уотсон продать его за восемьсот долларов, решил бежать. И Геку, понятно, следовало бы немедля сообщить об этом хозяйке Джима. Но ведь Гек и сам тогда скрывался, разыграв сцену собственного убийства. Не мог же он,

выдав Джима, выдать и самого себя. Жаль, что теперь эти оправдания больше не годятся. Плот находится уже далеко от Санкт-Петербурга. Дальше будет сплошь рабовладельческая территория. И необходимо сделать решающий выбор — либо донести, либо сжечь за собой все мосты.

О как это нелегко — выбирать при таких условиях! Гек пытается уклониться. Но тут же чувствует, что все его рассуждения — это лишь хитроумные уловки, демагогия, как сказал бы образованный Том Сойер. Конечно, он не сманивал Джима, не подстрекал его к бунту против въедливой праведницы, вольной поступать со своим рабом как ей вздумается. Он здесь вообще ни при чем. Да полно, так ли уж ни при чем? Ведь не отправься Гек на разведку, переодевшись девочкой и неудачно изобразив не то Сару, не то Мэри Уильямс, и Джима изловили бы прямо на том острове, который для них обоих стал первым пристанищем. А как, помогая друг другу, они вместе спаслись, очутившись в бурную ночь на разбитом пароходе, где трое бандитов сводили счеты друг с другом? Нет уж, пришла пора держать ответ перед своей совестью, и от этого никуда не денешься.

И он прислушивается к голосу совести, а этот голос побуждает его приналечь на весла, чтобы побыстрей добраться до берега и передать Джима куда полагается. Только подсказывает ему такое решение не совесть, а предрассудок, повелевающий не считать негра полноценным человеком. Гек знает, что так надо. Но, к счастью, ему «не научиться никогда поступать так, как надо; если человек с малых лет этому не научился, то уж после его не заставишь никак: и надо бы, да он не может, и ничего у него не получится». Совесть — настоящая совесть, которая Гека никогда не подводит, — не может допустить, чтобы он предал Джима, делившего с ним все невзгоды плавания на плоту и свято верящего, что Гек его единственный и верный друг. Над всеми расистскими мифами, над всеми предубеждениями и жестокими поверьями, которые держали в своем плену даже неплохих, по сути, людей на тогдашнем Юге, поднимается — и торжествует — простое и великое чувство человеческого братства. И Гек Финн становится героем в самом прямом и точном значении этого понятия.

Нам трудно представить, чтобы он повел себя по-иному. Но ведь события, о которых рассказывает повесть Твена, происходили очень давно — около ста пятидесяти лет назад. А в ту пору Гек был, конечно, явлением совершенно удивительным, уникальным для американской жизни, которую Марк Твен наблюдал по берегам Миссисипи. Чтобы в обстоятельствах,

описанных Твеном, сохранить верность нравственной правде, а не заведенному обычаю, чьей жестокости никто не хочет замечать, требовалось редкое мужество и нужен был редкий дар человечности.

Наделив этими качествами своего героя, Твен не мог не перестроить и саму повесть так, чтобы ее центром сделался духовный подвиг Гека — именно подвиг, хотя сам Гек, несомненно, очень бы удивился такому определению: просто он действовал так, как ему велело сердце, и что же тут особенного, что он не пошел против самого себя?

Поначалу Твен намеревался создать еще одну книгу о мальчишках из Санкт-Петербурга и об их приключениях. Правда, слово «приключение» в данном случае не надо понимать буквально. Даже если ограничиться «Томом Сойером». Там ведь приключений не так уж и много, гораздо больше игр — пусть порою и принимающих характер не то чтобы опасный, но довольно рискованный. Да, впрочем, игры тоже не самое главное. А главное — это горячее сердце Тома и его пылкое воображение, его страсть к романтике — и высокой, и смешной.

В «Геке Финне» приключений, если говорить всерьез, еще меньше. И все это приключения не ради потехи или авантюры. Удрав на Джексонов остров, Том просто играет, а Гек, скрывшийся там после своего побега от отца, ведет борьбу за собственную жизнь. Сам этот побег продуман Геком с такой тщательностью и осуществлен так изобретательно, что ему бы позавидовал и Том Сойер. На первый взгляд перед нами все признаки мистификации, ничуть не менее остроумной, чем проделки Тома или комические подвиги героев фронтира. Но, подпиливая стену, а потом поливая кровью подстреленного поросенка земляной пол и прилепив клок своих волос к лезвию топора, Гек озабочен вовсе не тем, чтобы соблюсти неписаные правила розыгрышей с мнимой смертью, о которых так часто рассказывается в американских легендах. Ему не до шуток. Крутой нрав отца он знает хорошо и должен не ошибиться ни в одной мелочи, потому что ошибка грозит ему гибелью.

Может показаться, что Гек такой же романтик, как и Том, — ведь и он по своему характеру непоседа, только и мечтающий о том, чтобы жить интересно, меняя впечатления, загораясь все новыми планами и идеями. Едва лишь начинает налаживаться какой-то упорядоченный быт, Геку становится не по себе, и он тут же принимается замышлять бегство — от вдовы ли, от отца, да от кого угодно: «Уйду так далеко, что ни старик, ни вдова меня больше ни за что не найдут». Вот эта его черта всего родственней Тому Сойеру, недаром они и понимают друг друга с полуслова.

А все-таки и здесь различий между ними больше, чем сходства. Том изнывает от скуки на школьных уроках и воскресных проповедях, ему давно приелась даже непрекращающаяся война с Сидом, он тяготится размеренной повседневностью Санкт-Петербурга и все замышляет что-нибудь из ряда вон выходящее, чтобы скрасить эти мирные и безликие будни. На острове он в своей стихии, он охотно прожил бы так и еще неделю-другую, потому что Том все время тянется к жизни простой и естественной, хотя и знает, что рано или поздно придется возвращаться под крыло тети Полли; да это и легко сделать, благо от острова до городка всего лишь полторы мили по реке.

У Гека идея бегства несравнимо серьезнее. Уж он-то, кажется, во всех отношениях дитя природы — никогда у него не было ни постоянной крыши над головой, ни родительской ласки, ни того, что принято называть «хорошими манерами». Понятно, отчего он так скверно себя чувствует в доме вдовы. А у отца? Вроде бы здесь все по нему — ни книг, ни ученья, лови себе целый день рыбу да покуривай всласть. Только эта естественная жизнь, к которой Гек должен бы быть предрасположен, ему столь же тягостна, как и «нормальный» распорядок, каким его себе представляют вдова или мисс Уотсон. В отличие от Тома Гек давно понял, что эта естественность — не одно лишь сладостное безделье, свобода от всяких нудных правил и приволье не поднадзорного житья. Это еще и непролазная грязь, и грубость нравов, и убожество помыслов, и шрамы от ежедневных порок, и предрассудки еще более дикие, чем в той среде, к которой его пыталась приобщить вдова Дуглас. И против такой естественности Гек бунтует не менее яростно, чем против стараний превратить его в такого же благовоспитанного и бесцветного мальчика, как и большинство в Санкт-Петербурге.

Поэтому бегство для него не забава, а необходимость — самим собой он может остаться лишь вдали от мира, где властвуют «нормальность», насаждаемая провинциальными ревнителями хорошего воспитания, или «простота», которая так ему знакома по опыту общения с отцом.

И прибежищем для Гека становится плот.

Сюжет книги о Геке — плавание, дорога, которая всегда сулит приключения. Конечно, такой сюжет выбран не случайно. В мировой литературе он встречается очень часто. Еще с той поры, как на выжженных солнцем испанских трактах появилась худая и высокая фигура доброго рыцаря верхом на Росинанте и его приземистого, по-крестьянски одетого слуги, сопровождающего своего господина на осле, дорога стала важнейшим

художественным мотивом многих замечательных книг. Пройдет по ней, открывая для себя сложности мира, но не теряя веры в доброту человеческого сердца, безродный сирота Том Джонс из замечательной книги Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» (1749), — Твен любил произведения этого английского просветителя, убежденного, что «смешное жизнь предлагает внимательному наблюдателю на каждом шагу», и умевшего в обыденности различить и драму, и фарс, и серьезный конфликт. По пыльным российским шляхам прокатит бричка Чичикова в бессмертной поэме Гоголя, а чуть раньше появятся на сельских проселках доброй старой Англии фигуры добродушного мистера Пиквика и его незадачливых друзей, описанных в романе Чарльза Диккенса. Плот Гека и Джима — это еще одно звено давней и плодотворной литературной традиции, которую определяют как роман дороги.

Но по своей Творческой сущности такие романы бывают очень разными. Обычен случай, когда дорога служит лишь удобным способом связать, скрепить разрозненные эпизоды повествования, придав калейдоскопу целостность и выстроив панораму (или, например, сатирическое обозрение) там, где без сквозного мотива дороги не появилось бы единства. И совсем иной характер приобретает тот же образ странствия в «Геке Финне». Река, по которой плывут Гек и Джим, — такой же полноправный герой повествования, как и они сами. Попытайтесь вообразить, что они бы передвигались ну хоть в повозке или пешком через прерию, как Следопыт в романах Купера, — сразу же исчезнет что-то очень значительное, может быть, даже определяющее в книге Твена. Ведь река — это особый мир, живущий по своим законам поэзии, величия, непредсказуемости, вольности, и он никогда не подчинится унылой будничности поксвиллов и бриксвиллов — маленьких городков, стоящих по берегам просторной Миссисипи.

Гек и Джим в ладу с этим миром, в разладе — с людьми, которые его населяют. Для Джима дорога — это нелегкий и опасный путь к свободе, для Гека — самая естественная форма существования. А для самого Твена? Для него река и дорога воплощают вдохновение. Это и вправду целая вселенная — открытая, неисчерпаемая в богатстве своих красок, бесконечно изменчивая и все-таки единая, если только художник сумеет за ее разноликостью обнаружить глубоко пролегающую связь самых, казалось бы, несочетающихся событий, самых далеких друг от друга явлений и вещей. Дорога здесь больше, чем путешествие, дорога — это способ жить в мире и изображать мир.

И если сравнить «Приключения Гекльберри Финна» с

другими романами дороги, то всего созвучнее книге Твена окажутся «Мертвые души». Мы и у Гоголя повсюду встретим картины, преисполненные резкого отрицания той действительности, в которой только и возможно появление маниловых и собакевичей, коробочек и Плюшкиных, — а их духовных родичей перед читателем «Гека Финна» пройдет целое множество. Но свою книгу Гоголь назвал поэмой — не по авторскому капризу, конечно. Если бы его задачей была только сатира, странными выглядели бы на гоголевских страницах и поразительные лирические пейзажи, и птица-тройка, и эти гимны дороге, которые не раз вспомнишь, читая повесть о Геке: «Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога!.. Сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!»

Тут дело в общности, в объективном совпадении принципов художественного мышления. Ни для Гоголя, ни для Твена уродства жизни, которую они изображали, не могли заслонить саму жизнь в ее бесконечности и красоте. Осмеяние и высокая лирика у них не просто взаимодействовали — они представали нерасторжимыми, образуя совершенно особую образную стихию.

А чтобы такая стихия возникла, необходимым условием оказывался мотив странствия. Дороги. Или плота.

Поначалу плавание на плоту кажется Геку удивительным, ни с чем не сравнимым приключением. Но встреча с Джимом переворачивает ситуацию игры, знакомую нам по «Тому Сойеру», и делает ее ситуацией нравственного выбора.

Правда, Гек это не сразу поймет. Ведь плот для него вроде островка романтики среди окружающей скуки. Так хорошо плыть по широкой тихой реке, где несколькими слабыми огоньками обозначены погрузившиеся в сон редкие городки и деревни на высоком берегу, и, опустив ноги в согретую солнцем воду, надрезать дыню, взятую — разумеется, взаймы — на бахче, залитой лунным светом, и любоваться снопами искр из топок пароходов, идущих вверх, к Сент-Луису, и разгуливать нагишом, если не допекают москиты.

И когда позади останется не одна сотня миль, когда уже произойдет крушение и Гек познакомится с необычным семейством Грэнджерфордов, оказавшись свидетелем кровавой стычки, решившей исход их родовой вражды с Шепердсонами, когда два авантюриста, именующие себя королем и герцогом, выгонят наших героев из шалаша, а потом и сами едва не сделаются жертвами разъяренной толпы, — когда столько диковинных событий пройдет перед глазами Гека, он все так же будет мечтать лишь об одном: очутиться на плоту вместе с

Джимом, «плыть одним посредине широкой реки — так, чтоб никто нас не мог достать!».

Прикоснувшись к реальной повседневности, Гек необычайно остро почувствовал, что только плот, когда они плыли вдвоем с Джимом, был приютом настоящей человечности, настоящего братства, которое и должно служить естественным принципом отношений между людьми, какими бы разными — и от природы, и по своему положению, и по взглядам и понятиям — они ни были. Но вместо братства повсюду рознь, обман, жестокость, насилие, и оттого-то Геку «везде кажется душно и тесно, а на плоту — нет. На плоту чувствуешь себя и свободно, и легко, и удобно».

Этот плот, на котором мы словно бы странствуем вместе с героями, конечно, становится высоким символом. На плоту выявляется истинная сущность человека, как ее понимал гуманист Марк Твен. Грэнджерфорды и Шепердсоны ходят в одну и ту же церковь и слушают проповедь о любви к ближнему, но при этом не спускают глаз друг с друга и держат руку на заряженном ружье. Мисс Уотсон сладко вещает о рае в награду за примерную земную жизнь, но предложенные работорговцем восемьсот долларов для нее слишком большой соблазн, чтобы не разлучать Джима с семьей, обрекая его на гибель. Жуликоватый старикашка, который выдавал себя за сына казненного народом французского короля Людовика XVI, соловьем разливался перед молитвенным собранием, обещая выучить христианскому смирению пиратов, каким он сам якобы был много лет, а потом посмеивался над доверчивыми олухами, собравшими ему деньги для этой возвышенной цели.

Джим тоже толкует о смирении, любви, заповедях, а по-настоящему обходится без всякой патетики и истовой религиозности. На плоту вместе с Геком беглый раб, быть может, единственный раз за всю свою жизнь почувствовал себя как равный с равным. И не было здесь ни всевластия хозяина, ни бесправия раба. Вся ложь и вся бесчеловечность, почитаемые в родных краях Гека и Джима нормальным порядком вещей, исчезают бесследно, когда плот отталкивается от берега и выходит на стремнину великой реки.

Но по берегам они остаются — и эта ложь, и эта никем не замечаемая бесчеловечность. Огромная и такая разная в своих обликах Америка предстанет Геку Финну, в обществе беглого невольника плывущему вниз по реке. И сколько раз он будет поражаться неумению людей жить просто и естественно, устраивать свои дела справедливо и разумно, так, чтобы не обманывать друг друга, не гнаться за бесчестными заработками,

не сходить с ума от пустоты существования, не убивать по законам кровной мести, не преследовать только за цвет кожи. И обо всем этом Гек будет думать сосредоточенно, почти как взрослый.

Многое ему так и останется непонятным. Неудивительно — ведь Твен заставил его столкнуться с самыми жестокими сторонами американской действительности, поражавшими европейских наблюдателей, которые, в отличие от Гека, получили прекрасное образование и понаторели в философии, истории, социальных науках и других серьезных предметах. Но уж одно Гек знает наверняка. Проплыв на плоту чуть не всю Миссисипи, он видел сказочную природу и щедрость земли, он испытал чувство безграничной свободы. Люди же, которые ему встретились, порабощены ничтожными стремлениями, ханжеством, лицемерием, расовыми предрассудками. Оттого-то так бессмысленно их существование. Чтобы оно стало другим, нужно самому быть свободным и верить природе и своему сердцу, а не законам и правилам, существующим в этом обществе.

Начавшись как игра, плавание стало опасным приключением — да и не приключением, а борьбой за справедливость, за честно устроенную жизнь, когда все люди свободны и все люди братья. Гек не знал таких выражений и сказал бы по-другому. Но чувствовал он именно так, потому что стал зрелым человеком.

Здесь, на плоту, пробуждается все самое лучшее, самое светлое, что заложено в человеке. Здесь высвобождается из-под гнета социальных условностей и ложных догм прекрасная человеческая сущность, здесь ничто не мешает душе выявить все то доброе, что в ней хранится от рождения. И уже не так важно, что Гек белый, а Джим негр, и по жизненному опыту они очень разные. То, что изначально связывает всех людей, на поверку оказывается куда важнее любых различий между ними.

Это великий урок, постигнутый Геком Финном. Твен понимал, насколько глубокий переворот происходит в сознании его героя, и поэтому в «Геке Финне» он решил вести рассказ от первого лица — пусть Гек убедит читателей в своей правоте не только поступками, пусть все происходящее будет восприниматься его глазами. Пусть само его лукавое простодушие, его не приглаженная, полная жаргонных словечек и смешных ошибок речь придадут достоверность комментариям Гека к событиям, развертывающимся на страницах книги. Пусть эта безыскусная исповедь поможет распознать за приключенческой сюжетной канвой серьезность конфликта, переживаемого подростком, освобождающимся от предвзятости, страхов, условностей, которые в нем воспитывала окружающая

среда.

В «Томе Сойере» поначалу повествование тоже велось от первого лица. Но затем Твен отверг этот план. И дело не просто в том, что для первой повести игра, занимательность в чистом виде куда важнее, чем для второй. Дело прежде всего в различиях между Томом и Геком.

Том не размышляет над законами мира, в котором он растет. А Гек задумывается над будничностью всерьез — и по-своему глубоко. И эти размышления исподволь меняют его взгляд на жизнь. Он все больше становится нетипичным подростком и вообще нетипичной личностью — для своей эпохи, для своего мира. В нем все определеннее выступают черты человека, обладающего нравственным убеждением, которое не только не созвучно, но прямо-таки противоположно убеждениям большинства. Идеи, воспламеняющие воображение Тома, идут из прочитанных им книг — мысли Гека зарождаются под впечатлениями действительности. Гек умеет подмечать в ней несравненно больше, чем Том, в ней одной черпает он свои представления об истинном и ложном, прекрасном и недостойном. Он принадлежит этой действительности безраздельно, а вместе с тем он в ней чужой, потому что понятия и принципы, которыми живут в Санкт-Петербурге и других городках по Миссисипи, Гек не может ни разделить, ни оправдать. Он намного сложнее, чем Том, хотя где же ему тягаться с приятелем по части образованности, а также всяких ослепительных иллюзий и красочных образов. И эта сложность, этот внутренний разлад и его преодоление могли в полной мере выявиться лишь при том условии, чтобы Гек рассказывал обо всем сам, без авторских подсказок и разъяснений.

Впервые в американской литературе полуграмотный подросток заговорил собственным языком. Будущее покажет, насколько новаторским и смелым было это художественное решение. В наш век у Твена появилось множество учеников, и все они признавали, что «Гек Финн» стал для них великой школой мастерства. Перечитывая повесть Твена, они учились объединять в одном лице повествователя и героя, участвующего во всех ключевых событиях. Постигали секрет естественной непринужденности рассказа, в котором каждая фраза своей простотой и даже грамматической неправильностью или колоритным словцом, какое можно подслушать только в разговоре мальчишек или в пересудах негров, собравшихся под вечер на кухне, чтобы потолковать о всякой всячине, сразу же создает законченный характер, доносит своеобразие всего изображаемого мира.

Но признание придет далеко не сразу. Некоторых современников Твена «Приключения Гекльберри Финна» шокировали своей «грубостью». Ах, какое неуважение к хорошему тону, без которого немыслима литература! Окруженная в те годы почетом и благоговением литературных дам, Луиза Олкот — она сочиняла душещипательные истории про «маленьких женщин» и «маленьких джентльменов» — возмущалась на страницах журнала «Лайф»: «Если мистер Клеменс не видит задачи достойнее, чем смущать чистые души наших юношей и девиц, лучше бы он для них вообще не писал». Другие критики выражались еще энергичнее: «пристрастие к помойке», «посягательство на моральные устои», «ужасающая непочтительность, смешанная с примитивным юмором». А на самом деле Луиза Олкот и другие хулители просто ничего не поняли в книге. Не поняли, что Твен добился поразительной естественности, в безыскусном рассказе Гека коснувшись самых болезненных сторон американской жизни, но не допустив и следа авторской назидательности и создав картину поистине всеобъемлющую. Вот почему «Гек Финн» станет книгой, из которой вышла вся последующая американская литература. Так отзовется о ней Эрнест Хемингуэй.

В США еще и через много лет после появления повести о Геке предпринимались попытки скрыть ее от тех, кому она прежде всего адресована, — от подростков. Какой-то духовный пастырь с пеной у рта доказывал, что книга кощунственна уже по той причине, что на плоту Гек и Джим разгуливают в костюмах Адама, а Гек к тому же «обладает отвратительной способностью распознавать запах дохлых кошек». Педагоги из города Омахи сочли, что Гек внушает своим ровесникам «вредные идеи». А в Нью-Йорке школьный совет исключил книгу Твена из числа произведений, рекомендуемых по программе изучения литературы. Причем было это сравнительно недавно — в 1957 году.

Как бы посмеялся Гек над своими хулителями, пекущимися о приличиях и нравственности! Ему незачем было бы вступать с ними в спор — читатели во всем мире, не обращая внимания на запреты и предостережения высокоморальных борцов за «истинную культуру», приняли повесть безоговорочно и полюбили ее героя навсегда. Иначе и не могло быть. Потому что «Гек Финн» — это сама правда. А в искусстве правда решает все.

Твен отдал своему персонажу не только мысли о сущности человека, которыми он особенно дорожил. Он отдал Геку и многие самые яркие впечатления, накопленные в те годы, когда лоцман Клеменс водил суда по Миссисипи. Нам могут показаться невероятными те или иные события, которые доведется

наблюдать Геку, мы можем счесть всего лишь условными масками, обычными в юмористике, такие фигуры, как те же король и герцог, спорящие, кому спать на соломенном матрасе, а кому — на тюфяке, набитом жесткими маисовыми кочерыжками. Но на самом деле и эти события, и эти люди появились в книге Твена вовсе не по его прихоти.

Жизнь, о которой он писал, была и впрямь причудливой, полной самых диковинных явлений — как в невеселой сказке или в скверном сне. Трудно, к примеру, поверить, что на Юге старого времени действительно происходили родовые распри, вызывавшие самую настоящую войну — до полного истребления того или другого семейства. Но они были вполне обычны и в Кентукки, и в Теннесси, и в Арканзасе — местах, куда занесет судьба Гека и Джима.

Дуэли тогда вообще были приняты, и Твен обычно их описывал юмористически. Но в «Геке Финне», повествуя о Грэнджерфордах и их врагах Шепердсонах, он отказался от гротеска, создав один из самых грустных, даже трагических рассказов, какие можно найти во всем его творчестве. Сюжет этого эпизода сразу же напоминает самую печальную повесть на свете — историю Ромео и Джульетты из великой шекспировской пьесы. Впрочем, даже и без этой параллели тягостное чувство оставляют страницы, где появляются радушные и обходительные южане Грэнджерфорды, которые у себя дома живут, словно в осажденной крепости, и охотятся на Шепердсонов, как будто всеми забытую ссору нельзя уладить иначе, чем кровью. Сверстник Гека Бак и его брат, тоже совсем мальчишка, станут жертвами в этой бессмысленной и жестокой бойне, и как не понять чувства героя Твена, которому делается нехорошо, едва он вспомнит два мертвых тела на мокром прибрежном песке. Гек успокоится лишь после того, как плот, выйдя на середину реки, начнет быстро отдаляться от этих проклятых мест. А в памяти читателя останется скупо и точно написанная картина того страшного дня. И она заставит совсем по-новому посмотреть на американское захолустье, еще недавно казавшееся Твену счастливым уголком.

Нас позабавят ловкие проделки герцога и короля, которые несли со сцены чепуху, выдавая ее за творения Шекспира, а самих себя — за давным-давно умерших знаменитых лондонских актеров Гаррика и Кина. Мы, конечно, никогда не поверим, чтобы публика, пусть и самая невежественная, соблазнилась зрелищем вислоухого старого пройдохи в седых бакенбардах, изображающего юную и прелестную Джульетту, и потасканного шулера в роли пылкого и нежного Ромео.

Неправдоподобно? Но вот что пишет о театре поры своей юности Твен в «Жизни на Миссисипи». Гастролировавшая английская труппа играла «Гамлета», зал почти пустовал. День спустя сыграли пародию на «Гамлета», безвкусную и грубую, — никто из пришедших не заметил, что играют не Шекспира, а фарс. Дамы, краем уха слышавшие, что Шекспир пробуждает возвышенные чувства, выплакали глаза, пока рычащая Офелия гренадерского роста швыряла в Гамлета морковью и репой. Трудно представить себе американскую провинцию времен Твена без таких вот развлечений, без таких «художественных» запросов.

Да и без самих короля и герцога. Считается, что это лучшая комедийная пара во всей американской литературе. Скорее всего, так и есть. Только неверно думать, будто перед нами персонажи, которых Твен просто выдумал. Нет, и король, и герцог — проходимцы, каких немало встречалось Твену и в годы лоцманства, и потом на Дальнем Западе. Это типичные «джентльмены-авантюристы», валом валившие в Америку со всего света и мыкавшиеся по ее городам и весям в поисках быстрой наживы. Судьба их была жалкой. Рано или поздно очередная затея проваливалась, и разгневанные жители прокатывали непрошеных гостей на шесте, вываляв их в смоле и куриных перьях.

«Герцога» Твен хорошо знал в Вирджиния-Сити. Это был печатник из типографии, горький пьяница, рассказывавший давно всем надоевшую повесть о своих предках, якобы обманом лишенных дворянского звания и нищенствовавших в Нью-Йорке. Да ведь и миссис Клеменс, мать писателя, не раз заводила разговоры про то, что ведет свой род от графов Дэремов, хотя кому было до этого дело в Ганнибале! А дядя Джеймс Лэмптон, устраивавший у себя дома парадные обеды, на которых подавались изысканные блюда из репы, больше всего любил потолковать про знатность своего происхождения, и ничего не стоило угодить старому чудаку, оказав внешние знаки почтения к его сановности.

Самозваных королей тоже отыскалось бы в американской глубинке немало — целая династия. И все это были сыновья Людовика XVI. Единственный его настоящий сын после французской революции 1789 года умер в заточении десятилетним мальчиком. Но тут же пошла в ход легенда, будто на самом деле он сбежал в Америку и скрывается, дожидаясь своего часа. На французском троне уже давно сидел новый король, причем не первый за послереволюционные годы. Но американские провинциалы не слишком разбирались в истории да и в европейских делах. И легко было их морочить, распуская

небылицы про «несчастного дофина», натерпевшегося от безбожников-санкюлотов и от интриг соперников.

Твен не был бы великим художником, если бы он попросту осмеял этих мнимых самодержцев и претендентов на звучные аристократические имена. И король, и герцог — это изгои, оказавшиеся на самом дне. В конечном итоге они обречены разделить судьбу тех, кому нет доступа в «приличное общество».

Существеннее другое: герцог и король — тоже бродяги, свободные, как Гек Финн, и, как он, не ведающие стеснительных оков сытого и благополучного оседлого житья. А значит, суть дела вовсе не в том, чтобы избавиться из-под опеки вдовы Дуглас и очутиться на приволье, хотя, например, Тому Сойеру ничего больше и не нужно. Нет, суть в том, чтобы жить по справедливости, потому что и у вдовы, и на плоту можно проявить себя добрым и смелым, а можно — бесчестным и трусливым. Решают не внешние обстоятельства, решает человеческое сердце, которое не должно оставаться глухим к неправде, к чужой беде, ко злу.

«Будь у меня собака, такая назойливая, как совесть, я бы ее отравил, — признается Гек. — Места она занимает больше, чем все прочие внутренности, а толку от нее никакого». Что же, его можно понять. Он ведь еще очень юн, и ему непривычно видеть эту циничную жестокость, это лицемерие, этот холодный дух пренебрежения простой нравственной правдой. А все это он наблюдает на каждом шагу. И когда непрошеные спутники на плоту пытаются обобрать сирот. И когда их самих подвергает варварской расправе толпа. И когда оскорбившийся плантатор недрогнувшей рукой убивает подгулявшего фермера Богса (вот где пригодились детские воспоминания о том, как погиб на улице Ганнибала безвредный горлопан Смар). И когда Гек просто бродит по какому-нибудь Пайксвиллу, где свиньи хрюкают в грязи по щиколотку, и дерутся собаки, и, засунув руки в карманы штанов, лениво переругиваются томящиеся от непроходимой скуки парни, а иногда — то-то смеху! — намазывают бездомного пса скипидаром и поджигают или привязывают ему на хвост жестянку, чтобы он носился, пока не околеет.

Да только что поделаешь, таким уж устроила Гека природа, что его всегда будет тревожить совесть и слушаться он будет лишь ее голоса. А этот голос повелит ему, отбросив сомнения и предрассудки, помогать Джиму, что бы по данному поводу ни сказали ревнители закона и порядка из Пайксвилла или из Санкт-Петербурга. Он повелит Геку во всем полагаться на собственное разумение и собственное чувство, а не на чужие понятия и нормы. И безошибочным чутьем прирожденного поэта Гек Финн ощутит,

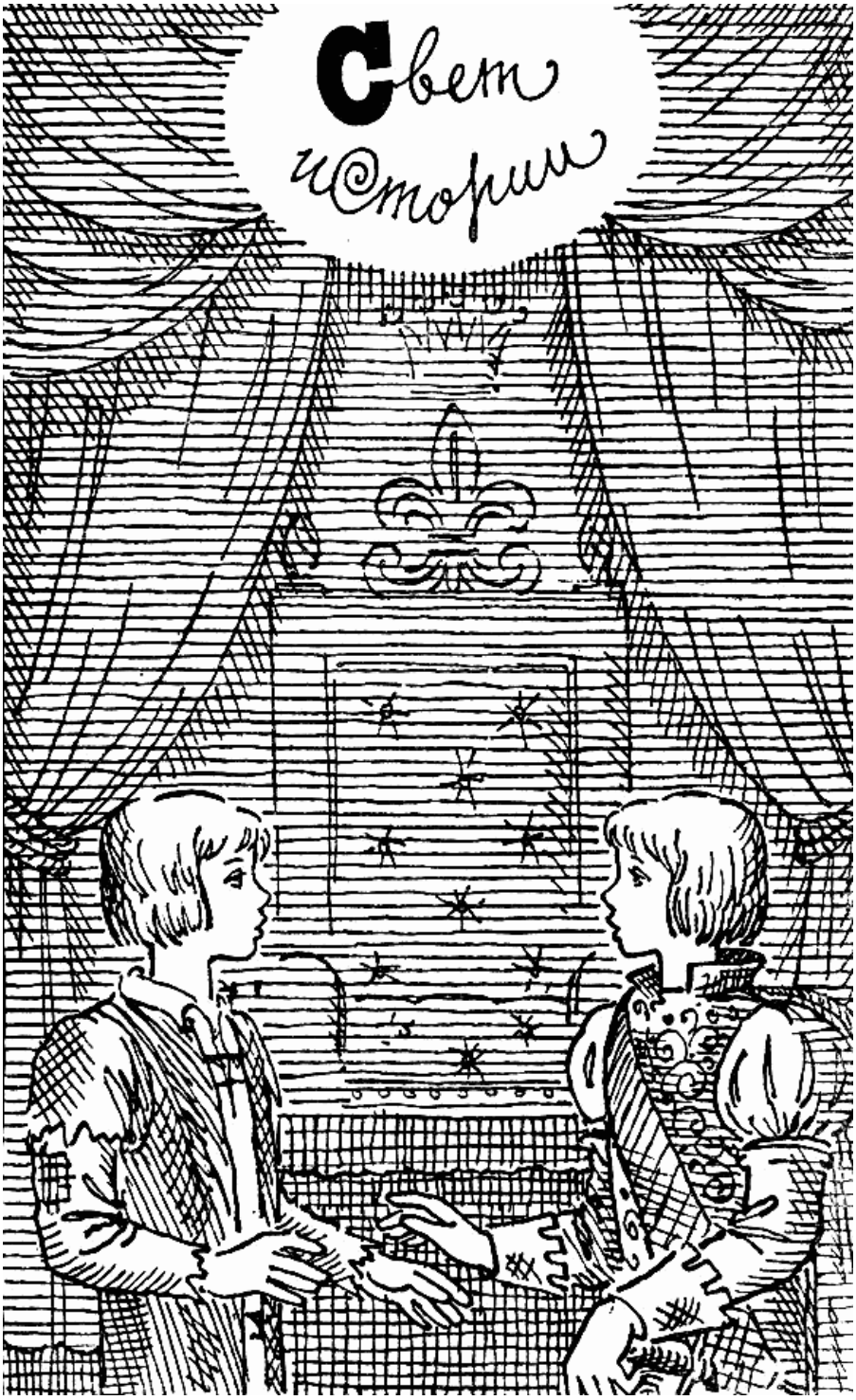
что есть какой-то непреодолимый разлад между вольной стихией жизни, открывшейся ему на могучей реке, и тем убожеством, той приниженностью и пошлостью, которую он повсюду видел, причаливая к берегу и соприкасаясь с серењким мирком людей, населяющих эти невзрачные поселки и городки.

С этим убожеством, с духовной спячкой и омертвением он никогда не сможет смириться, никогда не распрощается со своим убеждением, что жизнь должна быть совсем другой — свободной, яркой, человечной, такой, какой жили они с Джимом, пока оставались наедине друг с другом и с речным бесконечным простором.

Поэтому-то он непременно удерет от приветливой и славной тети Салли — куда угодно, ну пускай на индейскую территорию, раз уж она так влечет Тома Сойера. И снова Гек примется искать такое место, где человеку можно всегда поступать в согласии со своими лучшими побуждениями и со своей совестью, быть свободным и не уродовать себя смирением перед нелепыми и жестокими порядками. И это не игра. Это очень серьезно.

Трудно будет ему в Америке отыскать то приволье, о котором он мечтает. И все-таки пусть он его ищет. Без этого не могут ни Гек, ни Том. Ни их бесчисленные последователи — в литературе и в самой жизни.

Свет истории


Свет
истории

Первые главы «Гека Финна» появились в конце 1884 года в популярном журнале «Сенчури». Читатели, радуясь возвращению

своих любимых героев, настроились вдосталь посмеяться. Новая книга Твена их несколько разочаровала. Она была не такая забавная, как повесть о Томе Сойере. И затрагивала неприятные стороны жизни, о которых многим не хотелось серьезно задумываться. Ведь Твена в ту пору считали просто беззаботным балагуром и весельчаком. Эта легенда укоренилась настолько, что возникали курьезные ситуации. Как-то устроили чтение Твена в городке Утика. Он вышел на сцену, достал рукопись, но так и не смог приступить к делу. Едва завидя его, слушатели начали хохотать. На секунду переводили дух, аплодировали и снова смеялись до слез. А читать он собирался из «Гека Финна», о Грэнджерфордах и Шепердсонах, перестрелявших друг друга.

В конце концов он начал сердиться, когда его называли юмористом. «Юмор? — писал Твен одному из друзей. — Ну конечно, у меня юмор. И такой, что вполне подойдет для молитвы по усопшему. Никто даже не заметит, что тон ее не совсем уместен».

Необходимость чтения со сцены порой выводила его из себя. «Послушайте, это же унизительно. С какой стати я должен выглядеть идиотом? Что за мерзость! Не могу больше этого выносить».

Не мог, а приходилось. Нельзя было просто отказаться от тех же чтений — тогда публика начала бы быстро забывать Твена, чего он тоже не мог допустить.

И кроме того, на нем лежали заботы о семье. Вкусы Оливии Клеменс было не так-то просто удовлетворить. Выросшая среди роскоши, она не привыкла ни в чем себя ограничивать. Да и престиж в хартфордском обществе был для нее исключительно важен. Прошли времена, когда Твен разгуливал в куртке из тюленьего меха и дешевом галстуке, лихо повязанном на крепкой, загорелой шее. Теперь он был признанный литератор, к тому же владелец замысловато выстроенного особняка с башенками, галереями и фонтаном во внутреннем дворике. За домом тянулся сад, спускавшийся к берегу речки, именовавшейся Французским ручьем. В народе ее называли попроще — Свиной брод.

Этот дом бесконечно перестраивали, усовершенствовали, украшали, пока не выяснилось, что на банковском счету Твена осталось всего каких-то сто долларов, «о которых, к счастью, еще не пронюхал подрядчик». Удрученный этим открытием, он признавался сестре, что искренне желал, бы пожара, который избавит его от кабалы непосильных расходов. Он, наверное, пошутил. А может быть, и нет.

Правда, ни несчастным, ни обездоленным он себя не чувствовал. Детей — Сюзи, Клару, Джин — он любил без памяти.

И отношения с Ливи оставались самыми нежными, хоть Твена и смешила и раздражала старательность, с какой жена выискивала не вполне благозвучные выражения и чуточку крамольные мысли в каждой строчке, выходившей из-под его пера.

А все-таки семейная жизнь оказалась вовсе не такой, какой ему хотелось. Покоя и сосредоточенности, столь необходимых писателю, Твен не знал. И если бы не дочери, его не влекло бы домой так сильно. Там «всегда пахло святостью, отчего-то издающей точно тот же аромат, что и деньги».

Спасением от непрекращающейся суеты была Элмайра — это загородное поместье дали в приданое за Ливи. Здесь, в большом и удобном доме с видом на лесистые долины и сверкающие под солнцем ручьи, в которых ловили форель, Твен завершил «Тома Сойера». Здесь он создал свою книгу «Жизнь на Миссисипи» — последнюю перед «Геком». Да и лучшие главы самого «Гека» тоже написаны в Элмайре.

И здесь в 1882 году он писал повесть «Принц и нищий», где действие — впервые у Твена — разворачивается в очень давние времена: перед нами Англия середины XVI века.

Сюда, в Элмайру, приезжали лишь старые, испытанные друзья, и всех их поражали энергия Твена, его молодой задор, возбужденная речь и блеск в глазах, как только принималось решение прокатиться на лодке до дальнего плеса или устроить поход за перепелиными яйцами. В Элмайре, неразлучный с дочерьми, он точно бы снова становился Сэмом Клеменсом из Ганнибала. Он жил так, как, наверное, и должен был бы жить всегда. Хоуэлс, побывав в Элмайре, говаривал, когда его спрашивали о Твене: «Там он у себя дома, этот вечный подросток, — сердце мальчишки и голова мудреца».

В 1880 году, за год до рождения Джин, он написал в Элмайре «Пешком по Европе», напомнив своим читателям, что начинал с «Простаков за границей». Между двумя этими книгами, разделенными целым десятилетием, много общего. Твен ездил в Европу летом 1878 года вместе с другом, хартфордским священником Джозефом Твичелом, которого он изобразил в своих очерках под именем Гарриса — такого же американского простака, такого же неудачливого туриста, как пассажиры «Квакер-Сити» и как сам автор. Несколько месяцев они прожили, переезжая с места на место, в Германии, а в августе перебрались в Швейцарию и через альпийские перевалы на своих двоих тронулись к итальянским озерам.

Перед поездкой Твен просмотрел несколько книжек путевых очерков и с десяток справочников для туристов — это помогло найти нужную интонацию. Она была пародийной. Авторы очерков

восхищались красотами Рейна и Монблана, а путеводители нахваливали уют швейцарских гостиниц и прелести немецкой кухни. Твен решил изобразить себя и Гарриса американскими недотепами, которые с доверчивостью следуют советам, вычитанным из книг, и всей душой жаждут поскорее добраться до старинных замков и горных пиков, окруженных романтическими преданиями.

За свои денежки они желают получить полную порцию европейских чудес природы и памятников культуры, но проверка делом показывает, что восторгаться-то нечем. На альпийских лугах черным-черно от восходителей — вместо поэтического уединения настоящий базар. А памятники, предания, легенды путаются в голове, так что выходит полная нелепость. Да и кормят отвратительно, а гостиницы старые и запущенные. Нет, за культурой нашим туристам не угнаться, лучше уж они останутся простачками американцами со своими немудреными понятиями.

Читатели «Простаков за границей» хорошо помнили эту твеновскую маску. Она пригодилась и в книге «Пешком по Европе». Пешком? А не лучше ли сесть в поезд, благо скорость все равно черепашья — три мили в час. А на Монблан можно и в подзорную трубу полюбоваться…

Правда, Твен счел, что хоть на одну вершину в Альпах он должен подняться обязательно, и снарядил экспедицию, в которую, кроме него и Гарриса, входили семнадцать проводников, три капеллана, два геодезиста, ветеринар, шеф-повар со штатом помощников, три прачки, две доярки и учитель латыни. Всех их, а также мулов, коров и носильщиков сразу же по выходе из отеля Твен прямо на площади связал веревкой, потому что в горах так полагается. Запаслись складными лестницами, ледорубами, нитроглицерином и сотней пар костылей, которые вскоре пригодились: мул проявил неуместное любопытство к ящику с взрывчаткой, лягнув его копытом, что привело к исчезновению самой знаменитой из местных скал и некоторому ущербу для личного состава доблестного альпинистского отряда.

Разумеется, отряд быстро сбился с тропы. Проводника послали на разведку, обвязав тросом и велев дать сигнал, когда он отыщет дорогу. Часа через два трос вдруг бешено задергался. Все повскакали с мест как полоумные и бросились бежать что было сил. Так бегали до самого вечера, пока не очутились перед той самой гостиницей, из которой тронулись в путь. И что же оказалось? Во всем был виноват этот проклятый гид. Повстречав на выгоне отставшего от отары барана, шельма проводник привязал трос ему к хвосту и преспокойно отправился к себе в деревню. А потревоженный баран долго носился по оврагам и

впадинам, таща за собой на тросе всю компанию, пока не уперся лбом в свой хлев.

Читатели веселились: гротеск и небылица в руках Твена все то же безотказное оружие. Мимоходом оно могло задеть и простака американца: светского хлыща, похваляющегося шапочным знакомством с титулованными европейскими фамилиями, или находчивого предпринимателя, который на постаменте памятника поэту Фридриху Шиллеру намалевал рекламу изготовляемой им мази для полировки печей. Но по большей части твеновский юмор был нацелен на порядки и нравы Европы. По-прежнему Твену казалось, что его родина на голову выше этих одряхлевших монархий, как бы они ни похвалялись своим былым величием. И он, как десять лет назад, не щадил претенциозное и надутое — так ему казалось — европейское самолюбие.

Но вслед за этими комическими очерками были созданы «Приключения Гекльберри Финна».

А после «Гека» уже невозможно было писать так, как Твен писал до этой своей лучшей книги.

И оттого «Пешком по Европе» окажется последним твеновским произведением, в котором юмор облегчен и не предполагает особенно серьезных творческих задач, — важнее, чтобы рассказ все время смешил. Талант Твена останется тем же самым: комедийным, юмористическим. Но сущность юмора изменится. Он сделается и сдержаннее, и глубже. Все чаще он теперь будет впрямую соприкасаться с трудными и невеселыми размышлениями о том, что же все-таки представляет собой человек, и общество, в котором он живет, и опыт, который им накоплен за долгие века истории.

История, ее смысл, ее уроки интересовали Твена особенно сильно. И неудивительно, что все эти размышления заполняют страницы «Принца и нищего».

Никогда прежде Твен не обращался к исторический прозе. Но «Принца и нищего» он писал для своих дочерей и хотел поговорить с ними о самом главном — о том, каким создала человека природа и как меняют его природу условности и нелепости, несправедливости и жестокости, с которыми каждый сталкивается, вступая во взрослую жизнь. Он создавал философскую сказку. История была для него материалом гораздо более богатым, чем современность.

Но тут же возникали свои трудности. В историческом жанре существует собственная традиция и есть собственные корифеи — ими в ту пору, да и позднее, оставались Вальтер Скотт и Фенимор Купер. Прежде всего Скотт. Купера мы сегодня тоже считаем

историческим романистом, но для своих первых читателей он был вполне злободневен: ведь события, о которых он пишет, — это война Америки за независимость, ранние годы фронтира, иначе говоря, время, еще очень близкое к тому, когда жил сам автор «Следопыта», «Прерии», «Последнего из могикан». А Скотт описывал действительно далекую эпоху — средневековье, крестовые походы, борьбу Шотландии против англичан, подвиги рыцарей и героев-простолюдинов.

Но между шотландским бардом и создателем Кожаного Чулка при всем том есть много общего. Оба они любили изображать людей сильных и независимых, выводя на сцену персонажей, имевших только отдаленное сходство с реальными историческими лицами и, скорее, воплощающих романтический идеал личности. Оба обладали способностью передать не просто колорит, а самую суть описываемой эпохи, и поэтому их так высоко ценили современники, к примеру Белинский, отзывавшийся и о Скотте, и о Купере с глубочайшим уважением. Оба больше всех других сделали для того, чтобы исторический роман из развлекательного чтения стал настоящей литературой.

Только неверно было думать, будто никто уже не сможет написать об истории иначе, чем Скотт и Купер. Между тем именно так и считалось. Подражали им обоим просто рабски, Скотту в особенности. И Твена эти бездарные копии раздражали так сильно, что он переставал замечать достоинства и в самом оригинале — в «Айвенго» или в «Роб Рое» и «Квентине Дорварде».

Конечно, он был неправ, когда с такой пристрастностью судил о своих предшественниках, создавших исторический роман как полноценный литературный жанр. Суть дела заключалась не в том, что Твен не принимал Вальтера Скотта. Это реалистическая школа не принимала романтическую. Такое в истории литературы случается постоянно. Романтики тоже отвергали тех, кому шли на смену, — классицистов да и просветителей. И были точно так же несправедливы, как Твен по отношению к ним самим.

С дистанции времени хорошо видно, что каждое крупное явление в искусстве необходимо, чтобы сложилась плодотворная традиция и возникла органичная преемственность. Но ведь дистанция эта должна возникнуть. А пока ее нет, кажется, будто ближайшие предшественники писали совсем не так, как нужно. И с ними спорят куда яростнее, чем с писателями, которые творили давно.

Вот потому-то столько ядовитых стрел выпустил Твен в Вальтера Скотта, когда — одновременно с работой над «Принцем и нищим» — заканчивал цикл очерков о жизни на Миссисипи в

пору своей молодости. Впоследствии от него сильно достанется и Куперу — за мелодраматичные переживания персонажей и их цветистую речь, за неуважение к здравому смыслу и приверженность к пафосу, за то, что невежественный охотник у него изъясняется так, словно десятилетие провел среди придворных вельмож, и за другие «литературные грехи». Но Вальтера Скотта он изобличал еще язвительнее. Твену представлялось, что Скотт не просто привил литературе напыщенный стиль, но оказывал пагубное воздействие на своих многочисленных поклонников. Ведь, вместо того чтобы учить честности и мужеству, Скотт своими романами «заставляет весь мир влюбиться в сны и видения, в сгнившие и скотские формы религии, в глупость, пустоту, мнимое величие… безмозглого и ничтожного, давно исчезнувшего общества». Твен полагал, что нравы на американском Юге с его кичливостью и фанаберией были прямым результатом повального увлечения книгами сэра Вальтера. И значит, «он причинил неизмеримый вред, быть может, самой большой и стойкий вред из всех доселе живших писателей».

Всерьез к этим запальчивым суждениям относиться, разумеется, нельзя. О подлинной силе и подлинных слабостях Скотта они не говорят почти ничего. Зато многое говорят о том, чего Твен не хотел в собственных исторических романах. Он не хотел ни выспренности, ни театральных эффектов, ни «снов и видений».

Хотел он совсем другого: правды. И простоты. И естественности.

А кроме того, он стремился, чтобы любое его произведение, пусть и посвященное истории, заставляло задуматься над вещами сложными и важными, над вопросами, к которым рано или поздно приходит каждое поколение и которые каждое поколение должно для себя решить.

Твен заботился не столько о достоверности создаваемых им картин прошлого, сколько о том, чтобы они заставляли снова и снова задуматься, что истинно, а что глубоко ложно и постыдно в побуждениях и устремлениях людей, их образе мыслей, их поведении, в общем-то неизменных, как, по сути, неизменен во все эпохи и сам человек. У него не было ни малейшего преклонения перед стариной. Наоборот, старина — и уж тем более средневековье — его не притягивала, а отталкивала. Одному из друзей он как-то сказал, что не любит зарываться в книгах историков: «То, о чем они пишут, слишком для нас унизительно».

И с Вальтером Скоттом он спорил не только впрямую, как на

страницах своих очерков о Миссисипи былой поры. Он полемизировал с великим шотландцем и тогда, когда описывал в своих исторических произведениях средневековые нравы, понятия и порядки далекого времени. Скотт с увлечением и патетикой изображал пышность королевских дворцов, утонченный этикет рыцарей, изысканных в обращении сановников, бесстрашных и чистых сердцем аристократов. А Твен на полях мемуаров герцога Сен-Симона, долгие годы проведшего при дворе французских королей Людовика XIV и малолетнего Людовика XV, — эту книгу автор «Принца и нищего» читал как раз во время работы над своей первой исторический повестью — записывает: «Двор — всего лишь сборище голодных псов и кошек, отчаянно дерущихся за кусок падали». Уже в рассказе о лондонском уличном оборвыше Томе Кенти и наследнике английского престола Эдуарде, принце Уэльском, придворная знать — все эти лорды, графы, пэры и канцлеры выглядят комично, чтобы не сказать — жалко. Четырнадцать лет спустя, повествуя о Жанне д'Арк, Твен покажет короля Карла VII и его окружение не просто жеманными и смешными паяцами, а преступниками.

Для Скотта седая старина была окутана романтикой. Англия в эпоху крестовых походов, Шотландия, еще сохраняющая свою вольность, пока англичане не осквернят ее обетованную землю, — во многом условный, рожденный воображением мир. Через напластования экзотики и красочности подчас и у него пробиваются штрихи, меняющие весь колорит рассказа. Какая-нибудь на первый взгляд мелкая подробность дает ощутить, что отнюдь не такими уж великодушными и самозабвенными героями были тогдашние вассалы короны, да и сами короли. А за идиллией обнаруживаются столкновения своекорыстных интересов, страдания народа, драмы рядовых людей.

Заслуги Скотта лучше всех понял и определил Белинский, заметив, что он «своими романами решил задачу связи исторической жизни с частною». И Белинский, и Бальзак больше всего ценили в этих романах именно то, что относилось к «частной» жизни отверженных, обманутых и гонимых. Но почитателям Скотта казалось, что главное для исторического писателя — это донести романтику, которую заключает в себе сам аромат старины. А такая цель требовала многого не замечать, приглаживать противоречия и сложности изображаемого времени. Пользуясь пушкинской строкой — отдавать «нас возвышающему обману» предпочтение перед «тьмой низких истин».

А Твен не выносил никаких обманов, пусть и возвышающих. И хотя в его исторической прозе, особенно в «Принце и нищем»,

нам встретится немало повествовательных приемов, которые мы уже встречали в книгах Вальтера Скотта, Твен без обиняков предпочел сказать о средневековье истину, даже если она была удручающей.

Помните, как Том Кенти, волею судьбы сделавшись на время английским королем, вершит суд над тремя лондонскими жителями из простонародья, схваченными стражей и уже приговоренными? Том и в Вестминстерском дворце остался тем же мальчуганом со Двора Отбросов, которому улица с ее незамысловатыми происшествиями несравненно интереснее, чем все изощренные забавы, предназначенные для принцев. Это и спасло невинно осужденных. А за что вели их на казнь? Одного из этих несчастных признали отравителем только по той причине, что человек, видом с ним схожий, дал больному лекарство, от которого началась рвота, приведшая к агонии. Двух других — за то, что сочли причастными к козням дьявола.

Это обвинение было без труда доказано: кто-то видел, как ведьмы снимали чулки, а потом началась буря — конечно же, по этой самой причине. И виселицы им теперь не миновать. Но мнимый отравитель и виселицу счел бы для себя благом. Потому что отравителей и фальшивомонетчиков по тогдашним законам полагалось живьем сварить в кипятке. А в Германии додумались до еще более хитроумной казни. Преступника сваривали не в воде, а в кипящем масле, постепенно опуская жертву в котел на особом блоке. Таковы были подлинные, а не приукрашенные понятия людей средневековья.

Вальтер Скотт в нескольких своих книгах тоже коснулся диких суеверий и жестокостей того времени. Но у него это была лишь пикантная приправа к рассказу, в котором господствовала стихия романтики и поэзии. Для Твена же эпизод с разбирательством «преступлений», в которых простодушный Том Кенти не нашел ровным счетом ничего крамольного, не было ни случайным, ни маловажным. Этот эпизод органичен и необходим для того полотна, которое Твен создает.

Может быть, особенно ясны его расхождения со Скоттом и со всей традицией, опирающейся на заветы сэра Вальтера, выступают на тех страницах «Принца и нищего», где главным действующим лицом становится не Том, не Эдуард, а народ, лондонская толпа. Огромным завоеванием Скотта была уже сама мысль, что не короли и герцоги, а народные массы в конечном итоге вершат историю. После Скотта исторический роман всегда исходил из этого убеждения, если только перед нами настоящая проза, а не подделка, рассчитанная на пустую занимательность.

И все же в романах Скотта центральное положение неизменно

занимает герой-аристократ, а простой люд лишь помогает такому герою осуществить его замыслы и планы. Не приходится сомневаться, что Роб Рой никогда не добился бы своих целей, если бы его опорой не стали обычные шотландские крестьяне, повергшие в бегство выученных ратников-англичан. Ситуация, очень типичная для Скотта. Но догадываться, кто истинный творец истории, а кто просто вознесен на ее гребень благодаря своему родовитому происхождению, мы должны сами. Даже в массовых сценах, вызывавших справедливое восхищение первых читателей Скотта, народ скромно располагается на дальнем плане. А в фокусе оказывается рыцарь, или граф, или лорд, при любых обстоятельствах ведущий себя в соответствии с кодексом знатного джентльмена.

Поэтому и народ в изображении Скотта — именно масса, рисуемая одной краской и почти безликая. Это либо «добрые пуритане», единодушно преданные своему господину, либо гнусная чернь, которую господин сокрушает если не убеждением, так мечом. Точно у народа нет и не может быть собственных представлений и принципов, собственных — и порою очень несхожих, даже полярных — устремлений и пристрастий.

Нельзя осуждать Вальтера Скотта за подобный обман зрения. Он был романтик, а романтики, как бы они ни преклонялись перед народом, видели в нем некую единообразную стихию, некое единство, не ведающее внутренних противоречий. Но Твен был реалистом. И для него народ был не стихией и не абстракцией. Народ для него — это бесконечное множество самых различных индивидуальностей, каждая со своей судьбой и своим пониманием жизни.

Самые несовместимые побуждения — героика и приниженность, самоотверженность и рабский страх, бескорыстие сердца и зачерствелость души, жажда нравственной правды и отталкивающие предрассудки — перемешивались в этом неспокойном море, которое бурлит на мостовых и площадях средневекового Лондона. На страницах повести Твена возникает настолько емкий и такой непростой образ народа, что тут опасны какие-то однозначные суждения, какие-то категорические оценки.

В «Принце и нищем» народ обитает на Дворе Отбросов и в тайных лесных пристанищах нищих и воров, и покорно переносит гнет и насилие, которое чинит над ним всемогущий сэр Гью Гендон со своими стражниками да тюремщиками, и глумится над несчастным мальчишкой в лохмотьях, который называет себя английским королем. Уличная толпа не знает сострадания и милосердия: убийство — для нее развлечение, чужая беда вызывает в ней злобную радость, и только силу она признает

законом. Не странно ли, что эти жестокие картины вышли из-под пера Твена, который сам происходил из народа и оставался непоколебимым демократом по своим убеждениям?

Нет, не странно. Твен выражал народные идеалы, но он не льстил народу и не приукрашивал реальное положение вещей. В тот год, когда был напечатан «Принц и нищий», американские газеты сообщили о ста четырнадцати случаях линчевания, на следующий год таких случаев было уже сто тридцать с лишним. И каждый раз разыгрывалась одна и та же драма: масса, подчинившись какому-нибудь крикливому демагогу, утрачивала всякий контроль над своими действиями и поддавалась самым низким инстинктам, животной ярости, жажде крови, которая должна пролиться у нее на глазах.

Мальчиком Сэм Клеменс видел, как погиб на главной улице Ганнибала фермер Смар и как, не владея собой, горожане кинулись расправиться с убийцей, а потом трусливо разбежались, наткнувшись на твердый отпор. Тот день запомнился ему навсегда, и через многие его книги пройдет образ обезумевшей толпы, в которой уже не различить человеческих лиц, потому что люди, охваченные стадным чувством, переставали быть людьми.

А раз это было возможно, значит, в человеке, в неприметном прохожем, затерянном среди тысяч таких же, как он сам, заурядных обывателей, таятся силы темные и страшные. И они способны вырваться наружу, если не осознать их честно и трезво, чтобы затем обуздать их подлинной гуманностью, подлинно доброй волей. Это одна из самых существенных идей, вложенных в повесть о Томе Кенти и принце Эдуарде. Вышедшая с посвящением Сюзи и Кларе Клеменс, повесть задумывалась как светлая сказка, для которой не так уж важно, действительный факт или легенда описываемые в ней события. Но Твен не мог жертвовать правдой, чтобы сказка получилась безоблачно радостной. А правда требовала от него суровых красок, резких интонаций.

И конечно, правда не была бы истинной, если бы Твен увидел в народе лишь толпу, неспособную ни к человечности, ни к сопротивлению тиранам вроде того же Гью Гендона. Народ — не одноликая масса, и Майлс Гендон, пришедший Эдуарду на выручку в отчаянную минуту, а впоследствии столько раз рисковавший головой, чтобы восторжествовала справедливость, — это тоже народ. И подданные Гью, в молчании стоящие вокруг позорного столба, когда их принуждали осыпать насмешками и проклятьями привязанного к этому столбу Майлса, — разве они не народ? Как и те две встретившиеся принцу в тюрьме женщины, которые так о нем заботились и

прикололи ему к рукавам обрывки лент, перед тем как отправиться на костер, приняв за свою веру мученическую смерть. Как и адвокат, посмевший обличать бесчинства лорда-протектора и подвергнутый клеймению; как фермер, пополнивший шайку Гоббса, после того как разоривший крестьянскую семью английский закон превратил его в раба; как все эти встретившиеся Эдуарду на трудном его пути слепцы-нищие, и калеки с гноящимися ранами, и опухшие от голода дети, и бродяги, спящие вповалку на сырой земле у костра.

Народ обездолен и бесправен, народ до поры до времени безропотен и терпелив, народ, столетиями обреченный на жестокости и страдания, способен и сам становиться жестоким, причиняя страдания неповинным в его тяжкой судьбе. Но история — это не летопись захватнических войн и придворных интриг, а дело народа. Потому что она принадлежит народу.

Принц Эдуард поймет эту простую и великую истину, когда нежданный поворот событий заставит его соприкоснуться с народом впрямую. И он сумеет не только понять, а принять этот закон. Вот почему он станет одним из любимых героев Марка Твена.

«Это было в конце второй четверти шестнадцатого столетия» — так начинается «Принц и нищий».

А что происходило тогда в Англии на самом деле?

Было бедственное, тяжелое время. Корчилось в последних судорогах средневековье — в третьей четверти того же столетия родится Шекспир, символ Возрождения. Ломался ход истории. Феодалы отжили свое, теперь начиналось время промышленников, торговцев, банкиров — буржуазии. Английское государство крепло на глазах: отец Эдуарда Генрих VIII покончил со своеволием герцогов и графов, а сестра принца Елизавета — та очаровательная девочка, с которой любил поболтать и пошалить Том Кенти, — став в 1558 году королевой, сумела окончательно подорвать всевластие архиепископов и маленьких царьков, сидевших в родовых замках. Строился могучий флот, корабли под английским флагом бороздили все моря, омывающие Европу. Испания, главная соперница Англии, прислала к ее берегам громадную эскадру, кичливо именуемую Непобедимой Армадой, и англичане разбили ее наголову — правда, было это уже позже, через тридцать лет после воцарения Елизаветы.

А вот судьба другой приятельницы Тома Кенти, леди Джейн Грей, сложилась куда печальнее. Эдуард царствовал совсем недолго, и после его ранней смерти начались споры за престол. Принц Эдуард был влюблен в леди Джейн и ей отказал в своем завещании английский трон. Но победила другая придворная

партия, а Джейн Грей была объявлена государственной преступницей и приняла казнь. Ей было всего семнадцать лет.

На трон возвели другую сестру Эдуарда — Марию. Народ прозвал ее Кровавой. И не напрасно. Она правила Англией лишь четыре с небольшим года, но за эти годы крови пролилось столько, сколько не проливалось за иные десятилетия. На пиках, установленных вдоль Лондонского моста, не успевали сменять черепа обезглавленных заговорщиков и изменников — казни происходили что ни день. А тех, кто попроще родом, швыряли в переполненные тюрьмы по любому поводу.

Впрочем, при Генрихе VIII все это уже было — и десятки тысяч узников в смрадных темницах, и виселицы, и перегруженные работой палачи. Бунтовали церковники, обиженные тем, что Генрих отобрал у них земли и угодья, плели интриги аристократы, которых король лишил привилегии создавать свои дружины — нередко посильнее регулярной армии. Самодержец твердой рукой вел государственный чертог к намеченной цели — ею была сильная, сплоченная монархия. Исторически правота была на его стороне. Но от этого ничуть не легче становилось английскому народу. Земля переходила под власть короны, а крестьян сгоняли с их наделов, заставляя бежать в города, где они жили кто воровством, кто подаянием. Фабрик было еще немного, и они не могли принять всех, кто стоял у их ворот. Маркс напишет об этой эпохе: «…люди, внезапно вырванные из обычной жизненной колеи, не могли столь же внезапно освоиться с дисциплиной своей новой обстановки. Они массами превращались в нищих, разбойников, бродяг — частью из склонности, в большинстве же случаев под давлением обстоятельств».

Не раз они поднимались на борьбу. Двор и аристократия были напуганы восстанием крестьян в Норфолке. Возглавивший восстание мелкий дворянин Роберт Кет провозгласил: «Лучше нам взяться за оружие, лучше привести в движение небо и землю, чем терпеть такие ужасы». Было это в 1549 году, когда престол занимал Эдуард VI — тот самый принц, о котором пишет Твен. Историк Дэвид Юм, чью книгу Твен часто упоминает в своей повести, характеризует Эдуарда как «человека мягкосердечного, питавшего склонность к справедливости и равенству своих подданных перед законом», но вместе с тем «лицемерного и не чуждого жестокости в силу полученного им воспитания и условий времени, в которое он жил». Роберта Кета он послал на казнь.

Но народ считал Эдуарда добрым правителем. О нем ходили предания, сильно преувеличивавшие его незлобливость и демократичность. Этому способствовали и загадочные

обстоятельства его смерти. Эдуард VI умер семнадцатилетним от какой-то неведомой в те времена болезни. Пока шла распря из-за трона, вельможи скрывали, что у короны временно нет владельца. И долго еще ходили слухи, что на самом деле король жив и скрылся, чтобы вместе с народом выступить против богачей и сановников.

На почве таких легенд, глухими отголосками дошедших до XIX века, возможно, и родился замысел Твена. Однако, взявшись за «Принца и нищего», он заботился не о том, чтобы придать легенде видимость действительного события, как поступил бы на его месте романтик. Твену гораздо важнее было воссоздать эпоху в ее истинности. И он, опираясь на документы и старинные хроники, показывал Англию времен Тюдоров разоренной, страшной страной, где на одном полюсе роскошь и изысканность, на другом — нищета и грязь, где трущобы битком набиты вчерашними крестьянами, обреченными на голод и мытарства.

Майлс Гендон сетует: не осталось в этой стране честных людей, одни трусы и лжецы. А Том Кенти, стараясь в меру своего разумения управлять Англией снисходительно и справедливо, выслушает упреки святоши Мэри, будущей Марии Кровавой: преступников и подозрительных нельзя миловать. Покойный Генрих за годы своего царствования отправил на тот свет семьдесят с лишним тысяч человек — какой достойный пример потомкам!

На таком вот фоне развертывается в повести Твена история двух мальчиков, настолько друг на друга похожих, что различить их удается только по одежде: один всегда в шелках, другой вечно в нищенском рубище. Наверное, если бы не законы общества, они с малолетства могли бы стать близкими, как братья. Но хотя Твен описывает происшествие, которое возможно только в сказке, дух времени и страна, где живут герои, воссозданы на его страницах с такой тщательностью, точно бы он сам жил в Лондоне за три с лишним столетия до того, как появился «Принц и нищий». И поразительное природное сходство Тома и Эдуарда вовсе не затушевывает того обстоятельства, что одному из них уготована жизнь на Дворе Отбросов, другому — в Вестминстерском дворце, местопребывании английских королей.

Поменялись местами они по той единственной причине, что сначала поменялись костюмами. Переодевание у Твена — обычный, излюбленный мотив. На Джексоновом острове индейцами обрядились Том, Гек и Джо Гарпер, а в повести о Геке Финне ее герой наряжается девочкой, тогда как Жанна д'Арк предстанет перед читателем в обличье рыцаря — кольчуга, шлем, шпага. Каждый раз возникает ситуация необычная, и она может

оказаться смешной, но может — и очень серьезной. Для Твена в этой ситуации неизменно заключен поучительный смысл. Одежда — знак условностей, которые разделяют людей, хотя природа не знает ни принцев, ни нищих, ни рыцарей, ни простолюдинов, ни угнетателей, ни угнетенных, ни благовоспитанных, ни дикарей и бродяг. Это общество так устроено, что в нем на каждом шагу различия — по социальному положению, по воспитанию и образованию, по цвету кожи. А от природы все равны. И герои Твена постигают это, хотя реальная жизнь то и дело заставляет примерять ту или другую маску, разыгрывать ту или иную роль или, наоборот, всеми силами стараться освободиться от маски, от роли, навязываемой существующим в их мире порядком вещей.

Гью и Майлс были братьями по крови и непримиримыми врагами по сути. А Том и Эдуард по крови не имели друг с другом ничего общего, но довольно было, чтобы они поменялись платьем, и уже никто бы не сказал, где принц, где нищий. У себя в трущобе Том пользовался лишь одной королевской привилегией — обедать в шляпе, кто бы ни сидел рядом. И во дворце он поначалу смущался, путался, но как быстро, как легко овладел повадками принцев, хоть на обед у него были теперь изысканные яства, а не объедки и заплесневелые корки. Маску короля он для себя создал задолго до того, как фортуна вознесла маленького уличного попрошайку на немыслимую высоту, и эта маска пришлась ему как нельзя впору. Он увлекся своей поддельной жизнью, позабыв об истинной. Куда только подевались острый ум и чувство нравственной правды, так поразившие сановников, когда Том в первый раз занял место на троне! Маска меняет его до неузнаваемости.

И вот он уже в плену ложных понятий, принятых во дворцах, и незаконность его притязаний на престол не тяготит совесть Тома Кенти, хотя прошло всего несколько недель, как его сочли принцем Эдуардом, о котором ему теперь не хочется вспоминать. Поначалу для него не было разницы между понятиями король и пленник, и он вполне искренне хотел, чтобы воля короля была законом милости, а не законом крови. Его смешили все эти оберштальмейстеры, лорды опочивальни и подвязыватели королевской салфетки, хлопотавшие над ним, как над куклой, он не мог понять, чем прогневал всевышнего, который запер его в роскошной темнице, отняв солнечный свет, свежий воздух, свободу и естественность поведения, возможность всласть побегать и поиграть — незаменимые блага его несытого, зато интересного и яркого детства. Он даже завидовал мальчику, исполнявшему странную должность пажа для порки и зарабатывавшему свой хлеб спиной, приученной к розгам за

провинности принца.

Но маска незаметно для самого Тома становится его сущностью. Во всяком случае, грозит ею стать. Он все так же добр к обиженным и все так же суров к законам, которые считает несправедливыми. А тем не менее слуг у него уже втрое больше, чем было у настоящего принца. И до чего приятно заказывать себе новые наряды, когда захочешь, или при случае одернуть какого-нибудь заносчивого вельможу, смерив его таким взглядом, что того охватывает смертная дрожь.

Он даже готов отречься от своей матери — ей, привыкшей к побоям и голоду, не место среди блестящей свиты юного самозванца. Его страшит сама мысль вернуться в свой нищий квартал, сменить алый камзол на грязное тряпье и снова просить милостыню или идти к ворам.

Так маска враждует с человеческой природой и искажает ее бесчеловечно.

А принц Эдуард, наоборот, освобождается от роли, которую послушно исполнял едва не с колыбели, и тогда за маской все отчетливее выступает лицо — прекрасное, не изуродованное ни хитростью, ни двоедушием лицо ребенка.

Однажды Твен полушутя заметил, что испытывает доверие лишь к детям и к юродивым — они одни не выучились врать. Все его герои — не персонажи, именно герои — очень юны: и Том, и Гек, и Жанна д'Арк, которую считали блаженной. Они могут, не разобравшись в сложностях взрослого мира, судить о нем слишком прямолинейно и поступать наивно или затевать игру, когда она неуместна, но не лукавят, не поддаются ни лжи, ни трусости, не признают расчета, если он требует заглушить голос сердца. А для Твена во всей вселенной не существует ничего дороже, ничего истиннее, чем бескорыстие и искренность, свойственная им всем.

И принц Эдуард такой же. Даже те, кто знал его только во дворце, не сказали бы, что он бессердечен и холоден. Наоборот, Эдуард по-своему отзывчив и пылко бросается защищать правду, как он ее понимает. Но вот беда: справедливость равнозначна для принца его личным желаниям и капризам. Сама по себе, как обязанность для каждого, она Эдуарду неинтересна.

Он вырос в мире утонченности, праздности, лести и не догадывается, что это тепличный, ненастоящий мир. От настоящего мира его заботливо изолируют, и он даже не подозревает, что есть другая жизнь, где много грубого и жестокого, но зато не разучились ценить дружбу и взаимовыручку и умеют радоваться простым неподдельным дарам — погожему дню, теплому ночлегу, вкусной похлебке…

Как трудно даются принцу уроки подлинной жизни! Все его представления поколебались. И ему приходится ломать самого себя, отказываясь от привычки в одном себе видеть меру истины, считая свои мимолетные желания потребностью народа, свои прихоти — благом страны. Но до чего же это болезненно — расставаться со всем тем, во что верил, не задумываясь, не сомневаясь.

Не странно ли, что люди так меняются, когда их возносит или сбрасывает на дно капризная судьба? Не странно ли, что всего в нескольких милях от Вестминстерского дворца расположен Двор Отбросов — и это два мира, между которыми, кажется, нет ничего общего? Или все-таки есть? Ведь Том Кенти, облачившись в королевский наряд, стал в точности таким же, каким прежде был принц Эдуард. А принц, пока он жил среди лондонского сброда, не хуже Тома выучился отличать жертвы от хищников. И оба старались защищать добро, делая это простодушно, но почти безошибочно.

Так, видимо, все дело в том, что одни рождаются в дворцах, а другие в грязных ночлежках, одни колют орехи тяжелой печатью из золота, а другие рады куску черствого хлеба. Все дело, должно быть, в неравноправии, в скверном устройстве общества, и только.

Последние страницы «Принца и нищего» светятся радостью. Справедливость торжествует. Злодеи наказаны. Закон милости, а не закон крови будет править Англией, вручившей корону тому, кто ее истинно достоин уже потому, что юн и, стало быть, чист душой.

Но уже в следующем произведении Твена на исторический сюжет все намного сложнее, сумрачнее и печальнее.

Вскоре после того, как был закончен «Гек Финн», Твен вновь предпринял поездку по США с публичными чтениями. Его сопровождал писатель Джордж Кейбл. На эстраде, дожидаясь своей очереди, Твен с любопытством вслушивался в рассказы Кейбла, посвященные шумному и пестрому Новому Орлеану, где тот провел почти всю свою жизнь. Твен хорошо знал этот город с юности, но никто не изучил Новый Орлеан лучше, чем Кейбл. И проза его была какая-то необычная — длинные закругленные периоды, обилие редких, причудливых слов.

Как-то Твен спросил своего спутника, где он отыскивает такие витиеватые выражения и обороты. Кейбл отправился к себе в номер и принес большую старую книгу. Она была переложена закладками и основательно потрепалась от частого чтения. Автором книги был Томас Мэлори, называлась она «Смерть Артура».

Твен принялся читать и уже через две страницы хохотал до слез. Всю ту поездку, продолжавшуюся два с лишним месяца, он не расставался с романом Мэлори и решил, что непременно напишет пародию на него. Писать он начал сразу по возвращении домой, но книга — «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» — появится лишь в 1889 году, пять лет спустя. И окажется совсем не такой, какой первоначально задумывалась.

Замысел был простым. Мэлори, английский писатель, живший в XV веке — чуть не за целое столетие до Тома Кенти и принца Эдуарда, — в своем романе объединил и обработал многочисленные сказания о легендарном короле бриттов Артуре и о рыцарях Круглого стола. Согласно преданию, при дворе Артура существовал особый стол, за которым собирались лишь самые прославленные и благородные рыцари. С кубком доброго вина в руках они рассказывали о своих подвигах и чудесах, которые им встретились.

Эти предания и легенды зародились очень давно. Историки до сих пор спорят о том, какая из историй об Артуре и Круглом столе самая старинная. В них, несомненно, есть сюжеты и персонажи, пришедшие из устных сказаний кельтов, хорошо известных еще филологам Древнего Рима. И одно время даже считалось, что все это просто народные сказки, сложенные еще до того, как на Британские острова вторглись англосаксы — а это случилось в середине V века. Но археологические раскопки показывают, что некоторые события, упоминаемые в артуровских преданиях, происходили на самом деле. И вероятнее всего, что предания по большей части и возникли как раз в ту пору, когда кельты — бритты, ирландцы, шотландцы — боролись с племенами саксов, ютов, фризов, англов, прибывшими с Европейского континента. Борьба была жестокой и длительной. Она не утихала все VI столетие, когда, видимо, и родились рассказы о короле, возглавившем сопротивление непрошеным пришельцам, и о его славных отважных рыцарях.

Впрочем, и сегодня выражают сомнение в том, что король Артур действительно существовал. По одной версии, он был римским легионером, хотя римляне покинули острова еще в 407 году. По другой — кельтским вождем. По третьей — его вообще не было, а все истории о нем выдуманы. В общем-то, это не так уж и важно. А важно другое: выдуманные или отразившие реальные факты истории об Артуре оказались на удивление живучими. Их продолжали рассказывать, записывать, дополнять многие века.

Возник особый литературный жанр — рыцарский роман, исключительно распространенный в средние века. Сначала он

писался стихами, впоследствии прозой, но это не меняло его содержания. Героями оставались рыцари, совершающие одно героическое деяние за другим и на поле брани, и в поединках чести, и в странствиях по белу свету с целью отыскать таинственную чашу Святого Грааля — в нее один из учеников Христа собрал по каплям пролившуюся при распятии кровь, и она стала символом высокой нравственной чистоты.

Герой Сервантеса — добрый и бесстрашный Дон Кихот — прочел не один десяток таких романов. И уже хотя бы по этой причине Марк Твен, для которого не было писателя выше, чем великий испанец, не мог не заинтересоваться книгой Мэлори, когда она попала к нему в руки. Ведь эта книга была не только самым прославленным рыцарским романом, но как бы обобщением их всех.

О самом Мэлори мы знаем не многим больше, чем о воспетом им короле. «Смерть Артура» отпечатал лондонский типограф Кэкстон в 1485 году и предпослал книге вступление, в котором уверял, что эту рукопись ему принес человек, живший в графстве Йоркшир и отличавшийся буйным нравом, привычками феодала, не признающего над собой никакой власти. Видимо, это и был Мэлори. В его времена рыцарство доживало свой век. Один рыцарский орден за другим, обнищав, закрывались. Ни корона, ни церковь больше не нуждались в услугах далеких потомков сэра Ланселота и сэра Персиваля, прославившихся при дворе Артура. И они становились всего-навсего мелкими разбойниками, захудалыми помещиками или обыкновенными ратниками на службе у государства, а еще чаще — у земельных магнатов.

Такой, вероятно, была и судьба Мэлори, а сказочные времена, когда рыцарь был подлинным господином, приближенным к престолу и вершившим важные дела, вызывали у него тоску и зависть. Уже издатель Кэкстон не сомневался, что в печатаемой им рукописи много вымысла и прекрасных, но беспочвенных легенд. Твен с его скептическим умом сразу же решил, что у Мэлори одни выдумки, а какими были рыцари в действительности, он попытался вообразить сам. И уже среди его первых записей, относящихся к будущему роману, можно встретить следующую: «Странствующий рыцарь средних веков, сталкивающийся с тогдашними нормами, хоть он наделен современным мышлением. Броня — ни одного кармана. Невозможно почесаться, когда зуд. Насморк — просто несчастье, о железные нарукавники нос не вытрешь, а платков нет. На солнце броня раскаляется, в дождь протекает, зимой в ней чувствуешь себя, как в морозилке. От вшей и блох нет спасения. Самостоятельно ни одеться, ни раздеться. Молния бьет в латы

прямым попаданием».

В романе все это останется, вплоть до тяжких переживаний героя, по рассеянности засунувшего платок в свой шлем и изнемогающего от пота и от мух, набившихся под забрало. Твен не находил в средневековье ничего поэтичного. Возможно, он бы отнесся к той отдаленной от нас эпохе более справедливо, если бы не целый сонм запоздалых романтиков, которые на разные лады воспевали Артура с его паладинами[5], словно VI столетие со всем его мракобесием и дикостями было золотым веком для человечества. Современники Твена носили на руках Альфреда Теннисона, английского поэта, в чьей книге «Королевские идиллии» артуровские легенды стали поводом для воздыханий о невозвратной поре счастливого детства людей. Громкой славой пользовался еще один такой певец средневековой идиллии, тоже поэт и тоже англичанин, — Алджернон Суинберн, щедро черпавший из сокровищницы преданий об Артуре.

Все это не могло не раздражать Твена. Описывая Британию под властью короля Артура, он не пожалел мрачных и ядовитых тонов. Сам Артур под его пером вышел самонадеянным и кичливым невежей, рыцари выглядели злобными фанатиками или просто болванами, облаченными в многопудовые доспехи, а их нежные возлюбленные и чаровницы-феи предстали капризными истеричками, вымогательницами или просто вампирами из страшных сказок про людоедов.

«Мой тайный замысел, — признается герой романа Хэнк Морган, — был именно таков: ослабить рыцарство, сделав его смешным и нелепым». То же самое мог бы сказать о своем намерении сам Твен. На страницах «Янки из Коннектикута» впрямую сталкиваются «волшебство чернокнижия» и «волшебство науки». Чернокнижие обречено проиграть, оказавшись бессильным. Рассеивается туман романтики, которой пытались окружить короля Артура литературные современники Твена. Наглядно выступает истина о том далеком и мрачном времени.

Но это только самый верхний слой содержания твеновской книги.

Она начинается с события совершенно невероятного. В драке кто-то крепко хватил Хэнка Моргана по голове, и, когда пострадавший очнулся, выяснилось, что из американского города Хартфорда — того, где жил и Твен, — он переместился на Британские острова, а из девятнадцатого века — в шестой. До того как это случилось, Хэнк был механиком на заводе. Кроме банков и контор, в Хартфорде было много предприятий, в основном оружейных. Попав к королю Артуру, Хэнк смастерит двенадцатизарядный кольт. Это спасет ему жизнь, когда сэр

Мерлин — главный маг государства и ожесточенный противник нашего героя — напустит на него весь цвет рыцарства в кольчугах и латах.

Он типичнейший американец, этот Хэнк Морган, настоящий янки до мозга костей. Чем-то он похож на Тома Сойера — ну хотя бы пристрастием к броским, театральным эффектам, когда вполне возможно покончить дело просто и разумно. А чем-то напомнит и Гека. В детстве он всегда запасался пуговицами, отправляясь на молитвенное собрание, где миссионеры собирали пожертвования для религиозного просвещения дикарей-язычников. Деньги, выдаваемые на этот случай родителями, Хэнк предпочитал оставлять себе: дикарям все равно, что монетка, что пуговица, а ему это вовсе не безразлично. Гек, конечно, поступил бы в точности так же. Да и с этой надоедливой, не дающей покоя совестью отношения у Гека и Хэнка примерно одинаковые: совесть — вроде наковальни, которую таскаешь в себе, хотя до чего это тяжело и неудобно! Но оба они не могут избавиться от своей ноши, а честно говоря, и не хотят от нее избавляться. Ведь жить, позабыв о совести, человек не в состоянии. Это и Гек, и Хэнк знают твердо.

Вопрос о том, что считать жизнью по совести, а что — грехом перед самим собой. Тут между Геком и Хэнком намечаются различия, и немалые. Потому что для Гека действительность, с которой он соприкасается, устроена плохо, несправедливо, а подчас и уродливо. Но Хэнк всего этого словно и не замечает. Америка ему кажется прекрасной, великолепной страной, тем более что она уже положила конец рабству, своему единственному пороку. И в королевстве Артура он принимается наводить те же порядки, к каким привык у себя дома. Он безоговорочный сторонник цивилизации американского образца. Он никогда не согласится, что у нее есть свои изъяны и несовершенства.

И чем активнее занимается Хэнк цивилизаторской деятельностью, тем больше становится похож на заокеанских туристов, которые разукрашивали рекламными надписями постаменты памятников и стены древних соборов. К рекламе, кстати, у Хэнка тоже особая страсть, и его стараниями рыцари вскоре разъезжают по дорогам страны уже не в качестве воинов, а в роли рекламных агентов. На их стальных латах аршинными буквами расписаны достоинства производимого Хэнком мыла и изобретенной им зубной щетки.

Конечно, реклама не самое главное для Хэнка, это лишь вершина целой пирамиды, которую он выстраивает. А в фундаменте должны находиться заводы и железные дороги,

телефонная связь, телеграфные аппараты, электростанции — словом, средства производства, какими располагала Америка конца прошлого столетия, — и тогда пирамида начнет быстро расти и вверх, и вширь. Будет уничтожено рабство, установлены справедливые налоги, подорвано владычество церкви, определены полезные для общества занятия всем бездельникам, похваляющимся родовитостью предков и занимающим придворные должности, хотя они не умеют ни читать, ни считать. И в результате получится республика. А Хэнк станет ее первым президентом.

Прекрасный план, только он провалится с треском, пусть Хэнку многое удалось: наладить телеграф, посадить армию на велосипеды — не то что в тяжелой амуниции плестись на изнемогающих лошадях! — и открыть бюро патентов, и организовать первую газету, сразу же усвоившую приемы журналистики в Теннесси. При помощи обыкновенного ковбойского лассо Хэнк запросто расправился со всеми знаменитыми героями Круглого стола, а два-три взрыва, которые он произвел, да еще его кольт, пробивавший самую прочную кольчугу, раз и навсегда обеспечили задиристому янки репутацию величайшего чародея и властелина в артуровском царстве. Но куда сложнее оказалось ему осуществить главную свою цель — добиться, чтобы бесперебойно и эффективно работала созданная им особая фабрика, где «незрячие и тупые автоматы», как он именует подданных короля Артура, превращались бы в людей. Из этой вот затеи не вышло ничего. Бедствующие, забитые, бесправные и неграмотные кельты не захотели сделаться американцами наподобие самого Хэнка, который настоящими людьми признавал лишь таких, как он сам. И выяснилось, что невозможно одним махом перескочить через тринадцать с лишним столетии истории.

Отчего же так получилось, несмотря на всю удачливость, сопутствующую Хэнку Моргану при дворе Артура, и на все его всемогущество среди «автоматов»? Об этом Твен и размышляет в своей сказке, наполненной отзвуками старинных преданий и событий, отразившихся в средневековых романах, летописях, хрониках. И сказка — местами смешная, местами печальная, таящая в себе многие неожиданные сюжетные ходы и интересная от первой до последней страницы — побуждает нас самих задуматься над вопросами очень непростыми.

Они глубоки и трудны, эти вопросы. Что такое прогресс? И когда он истинен, а когда мним? Возможно ли, чтобы человек оказался выше и мудрее своей эпохи, или же он всегда скован ее предубеждениями, ее поверьями, нелепыми для далеких

потомков? И отчего так прочны основания, на которых держатся насилие, гнет, несправедливость? И насколько мы, живущие сейчас, принадлежим текущему времени, а насколько — лишь продолжаем биться над сложностями, которые выявились уже во времена короля Артура, а то и еще раньше и, в общем-то, остаются, по сути, все теми же самыми, как бы ни изменилось общество и каких бы успехов ни добилась цивилизация?

История, если видеть в ней смены династий, войны, возвышение одних народов и упадок других, была Твену совсем не так важна, как была ему важна схожесть конфликтных ситуаций и острых противоречий, с которыми сталкивается человек, где бы и когда бы он ни жил. Свет истории помогал увидеть такие конфликты, такие противоречия с резкой отчетливостью. И вот почему Твен писал о рыцарях Круглого стола, об Англии в канун Возрождения, о Жанне д'Арк и Столетней войне.

Его не слишком заботила верность деталей. Возможно, при Артуре, если и впрямь существовал такой король, законы и обычаи были иными, чем описанные в «Янки из Коннектикута», возможно, историки признают созданную Твеном картину неточной. Все это не самое существенное. Достоверен сам факт, что подобные обычаи и законы существовали, и в них отразилось определенное представление людей о своем месте в мире и о нормах общественного устройства, определенная мораль и философия жизни.

А значит, отразился в них и сам человек со всеми своими сильными и слабыми сторонами. Со своими исканиями истины, своими заблуждениями, надеждами, иллюзиями, предрассудками, страхами, которые, пусть по-новому, но непременно дадут о себе знать и сегодня, через столько веков. Формы жизни, конечно, меняются, и меняются проявления человеческих чувств, строй мыслей, характер переживаний. А все-таки, по убеждению Твена, человек в сущности тот же, каким и был всегда, и не искоренимы ни его истинные достоинства, ни самообольщение и пороки.

Об этом и хотел сказать Твен в «Янки из Коннектикута». Хэнку поначалу все кажется диким в той стране, куда он попал. Но осваивается наш герой в этом причудливом королевстве достаточно быстро. И убеждается, что эти кельты на поверку почти такие же, как американцы, только они сильно отстали от современных веяний.

А может, не так уж и сильно? У них рабство, но ведь и в Америке совсем недавно было рабство, и караваны невольников, и бичи надсмотрщиков, и разлученные семьи, в общем, все те жестокости, которые потрясли Хэнка, когда волею авторской

фантазии он сам был продан с торгов. У них страшные тюрьмы, где люди за пустячный проступок томятся десятилетиями, но разве многим лучше американская тюрьма, куда «друг Гольдсмита» из рассказа Твена попал лишь по той причине, что был китайцем. У них какой-нибудь важный лорд вправе повесить своего холопа за попытку бунта, но и в Америке разъярившаяся, науськиваемая подстрекателями толпа линчевала настоящих или мнимых преступников, не разбираясь, в чем те провинились.

У них дети развлекаются игрой в виселицу, только ведь и американские сверстники Тома и Гека забавы ради играли в охоту на беглого негра или в войну с индейцами, требующую непременно снять скальп врага.

У них соседи человека, бежавшего из темницы, куда он был брошен по произволу феодала, скопом помогают ловить этого горемыку, и Хэнк возмущается подобной низостью и трусостью. Но тут же он вспомнит, что в недавнюю Гражданскую войну белые бедняки с Юга «взяли ружья и проливали кровь свою за то, чтобы не погибло учреждение, которое их же и принижало».

И, насмотревшись таких вот зловещих совпадений, Хэнк скажет с досадой: «Право, иногда хочется повесить весь род человеческий, чтобы положить конец этой комедии».

Скоро подобные настроения — очень мрачные, беспросветные — начнут все чаще посещать Твена, коренным образом изменив отношение к нему соотечественников, не узнававших былого юмориста. Пока это еще не самая заметная нота. Но для «Янки из Коннектикута» она не случайна. Ведь Твен стремится понять истинную меру и истинную цену прогресса. И выходит, что о прогрессе нельзя судить, подразумевая, подобно Хэнку, одни лишь технические новшества, вроде железной дороги между Лондоном и столицей Артура Камелотом или пароходов, поплывших по Темзе перед изумленными взглядами людей VI века. Нет, прогресс — это прежде всего способность человека наконец-то разрешить вечный спор гуманности и бесчеловечности так, чтобы во всех сферах жизни восторжествовал подлинный разум, победило подлинное добро. А если так, то за тринадцать столетий, разделяющих артуровскую Британию и Америку времен самого Твена, человечество продвинулось по пути прогресса совсем незначительно. Даже, пожалуй, и вовсе ничего не достигло.

Поэтому и не удается замысел Хэнка учредить республику американского образца на месте феодальной монархии. В отличие от него, подданные короля Артура не могут прозревать ход истории. Их представления о республике смутны, но, вникая в проекты янки, уже и они постигают, что в грядущей республике

никуда не денется, а лишь изменит свой облик «позолоченное меньшинство», которому принадлежит вся власть. И рабство тоже сохранится, пусть в иной форме. И о человеке все так же будут судить не по его личным качествам, а по его чину, рангу и богатству. Исчезнет аристократия, не такой всесильной станет церковь, но всего этого слишком мало, чтобы канули в прошлое несправедливость и угнетение и чтобы человек ощутил себя по-настоящему счастливым.

И Хэнку остается лишь горько сетовать на отсталость и тупость жителей артуровского королевства, именуя народные массы стадом овец, не способных понять собственное благо, а потом с тоской наблюдать, как рушится фундамент цивилизации, возведенный его стараниями. Записки янки обрываются на полуслове. Автор, выдающий себя лишь за издателя и комментатора этой рукописи, врученной ему забавного вида незнакомцем, которого он встретил, осматривая в Англии коллекции одного исторического музея, ограничивается очень кратким описанием последних часов пребывания Хэнка Моргана на земле. В предсмертном бреду янки называет имена своих спутников по странствиям в королевстве Артура. Какой точный штрих! Хэнк снова преодолел время и вернулся в свой Хартфорд, но душа его осталась в том самом средневековье, которое так проклинал деловитый и изобретательный механик-американец.

Видимо, что-то сломалось в его стройных и недалеких представлениях о цивилизации, прогрессе, демократии, счастье. Видимо, после своего таинственного приключения он по-новому взглянул на привычные ему с детства порядки — и, сам это не до конца сознавая, потянулся к иной эпохе, к другим берегам, к жизни, совсем не похожей на американскую будничность. Она ничем не лучше, эта другая жизнь, она груба, жестока, примитивна — от Твена странно было бы ожидать романтических вздохов о золотых временах рыцарства. Просто прямой контакт двух далеких друг от друга эпох, осуществляющийся на страницах «Янки из Коннектикута», обнажил несовершенство реальной американской действительности и иллюзорность свершений, которыми так гордились американцы, подобно твеновскому герою.

Но ведь оторваться от этой действительности, перенесясь в былой век, возможно лишь в сказке. А сказка кончается на последних страницах книги, оставляя Хэнка перед лицом проблемы, для него неразрешимой. Реальность Хартфорда ему скучна и тягостна. А пригрезившийся двор Артура уже невозвратим. И, говоря словами Твена из подготовительных записей к роману, янки «теряет всякий интерес к жизни…

задумывая самоубийство».

Так вот невесело завершается книга, поначалу казавшаяся только еще одной остроумной пародией на ходячие вздорные идеи. Работая над ней, Твен искал ответа на сложнейшие вопросы, которые ставит перед человеком жизнь, и ответов не находилось — во всяком случае, таких, которые бы его удовлетворили. Но Твен был не из тех, кто готов легко капитулировать, столкнувшись с подлинной сложностью и даже с драматической полярностью взаимоисключающих начал, которые, однако, совмещаются и в реальности, и в самом человеческом сознании. Он хотел объяснить окружающий мир, добравшись до его сути, и он верил, что в мире не иссякают бескорыстие, самоотверженность, доброта, жажда справедливости, не гаснет истинная человечность.

И в этом его тоже убеждала история.

Сэр Мерлин, пользовавшийся за Круглым столом славой великого провидца, предсказывал: Францию погубит женщина и женщина же ее спасет. Пророчество сбылось восемьсот лет спустя. Давние раздоры между французами и англичанами привели к войне настолько затяжной и опустошительной, что ничего подобного ей люди еще не знали. Война эта началась в 1337 году и с небольшими перерывами тянулась до 1453 года, когда Англия, наконец, признала свое поражение. Одним из самых тяжелых испытаний для Франции оказалась битва при Азенкуре (1415), где сложили голову сотни французских рыцарей, ведомых королем Карлом VI. Весь французский север отошел под власть англичан. Карл впал в безумие, его жена, королева Изабо, предала свою страну. Она-то и явилась женщиной, вознамерившейся погубить Францию.

А за три года до Азенкура в деревне Домреми родилась та женщина, которая Францию спасет.

Звали ее Жанна. Была она дочерью крестьянина Жака Дарка. Позднее, когда она совершит свои подвиги и станет для народа святой задолго до того, как святой ее объявит отправившая Жанну на костер католическая церковь, властители Франции сочтут неприличным, чтобы спасительница страны была низкого происхождения, и переиначат ее фамилию на дворянский лад — Жанна д'Арк.

Народ запомнит ее Орлеанской девой.

Для Твена Жанна была «бессмертным семнадцатилетним ребенком». Ее образ занимал Твена долгие годы. В Руане, где Жанну сожгли, хранились документы позорного судебного разбирательства, как и Оправдательного процесса, затеянного через двадцать пять лет после мученической гибели Девы. Твен

изучил их со всей тщательностью. В сказке о принце и нищем, в романе о янки можно было дать волю воображению — подробности эпохи здесь не столь уж обязательны, все решает философский смысл повествования. В книге о Жанне требовались достоверность и точность. Потому что Твен писал о подвиге, для народа бессмертном.

Он был не первым писателем, загоревшимся идеей рассказать о Жанне. И не последним. Сколько раз пленяла воображение художников ее краткая героическая жизнь во всем своем величии, во всей жестокой парадоксальности невероятного взлета и страшной развязки! Жанне посвящена одна из лучших драм Шиллера, который воспринял подвиг французской пастушки как величайший и непреходящий пример нравственного мужества. А современник Шиллера, скептичный острослов и вольнодумец Вольтер, которому поклонялась вся передовая Европа XVIII века, написал едкую и злую поэму «Орлеанская девственница», где о Жанне не говорилось почти ничего, зато крепко доставалось «гадине», как он именовал церковь. «Гадина» всегда была главной мишенью вольтеровской сатиры. Но облик Жанны под пером Вольтера исказился до карикатурности. Критики возмутились — и справедливо. Один английский журнал обвинил Вольтера в том, что он «присовокупляет поругание к смертным мучениям Девы». Пушкин цитирует этот отзыв в своих заметках.

Пролетели десятилетия, и имя Жанны снова оказалось у всех на устах: столпы католичества, желая с опозданием в четыре с лишним века стереть давний грех, повели разговор о том, что Жанну пора канонизировать, официально причислив к лику святых. Окончательно это было решено только в 1920 году. А пока шли дебаты, Анатоль Франс, крупнейший французский писатель того времени, создал большую документальную книгу о Жанне, подвергнув критическому исследованию свидетельства ее современников и развеяв миф, утверждавший, что она и впрямь была ясновидящей и общалась с ангелами. И в пьесе англичанина Бернарда Шоу, с которым Твен был дружен в последние годы жизни, Жанна изображалась не юродивой, не фанатичкой, впавшей в экстаз, а рассудительной и упорной крестьянкой, любимой народом, но ставшей жертвой изуверов в сутанах.

В искусстве есть вечные образы — к ним возвращаются поколения художников, и каждый раз перед нами новый Дон Кихот, и Гамлет, и Фауст, и Жанна из Домреми. Книга Твена не похожа ни на одно произведение о Жанне из всех, появившихся и до этой книги, и после нее. Такую Жанну мог создать только Марк Твен.

В журнале книга была напечатана анонимно, как неизвестная

рукопись, переведенная с французского, и, лишь выпуская отдельное издание в 1896 году, Твен поставил на ней свое имя. Для чего это требовалось? Уж конечно, не затем, чтобы посмеяться над наивной публикой. Как раз наоборот. Твен знал, что к нему по-прежнему относятся только как к юмористу. И стало быть, в любой его книге примутся отыскивать смешные страницы, забавные эпизоды. А «Жанну» он считал главным делом своей жизни. Хотел, чтобы над ее страницами думали, и плакали, и восхищались героиней, и сострадали ей. Поэтому он и скрыл свое авторство.

Может быть, такими соображениями определялся и выбор формы повествования. Книга была названа «Личные воспоминания о Жанне д'Арк сьера Луи де Конта, ее пажа и секретаря». Рассказчик принимается за свои мемуары, когда ему пошел девятый десяток. Звезда Жанны, так ярко вспыхнувшая, давно угасла, позади и Столетняя война, и затеянный сразу после ее окончания Оправдательный процесс, который восстановил доброе имя Девы. Никого из ее спутников — ни простолюдинов, ни военачальников, ни королей и епископов, так или иначе причастных к судьбе Жанны, — уже нет в живых. Перебирая слабеющей памятью события своей бурной эпохи, сьер де Конт описывает их так, как и должен был их описать человек средневековья, искренне верующий в знамения и откровения, проклятия и адские муки, небесную волю и загробное воздаяние.

Но у него пытливый ум и неподкупное сердце. Де Конт чуток ко всяческой несправедливости, неблагодарности, низости, предательству — а как часто сталкивалась с ними Жанна на своем недолгом пути! И, размышляя о том, отчего великая жалость и беспримерная любовь к родине, всегда поражавшие его в Жанне, которую сьер Луи знал с самого детства, были вознаграждены клеветой, пытками, костром на руанской площади и бездеятельностью толпы, собравшейся поглазеть, как сожгут еретичку и колдунью, повествователь с обезоруживающей прямотой подводит читателя к проблемам, решающим для нравственного самоопределения каждого человека.

У настоящей Жанны действительно был секретарь, которого ей назначил дофин, будущий французский король Карл VII. Этого человека звали Жан д'Олон. Он служил Деве верой и правдой: записывал ее приказы — сама она, с пяти лет пасшая овец и прятавшаяся в лесу, когда Домреми разоряли англичане и бургундцы, ни писать, ни читать не выучилась, — а в бою всегда был с ней рядом, чтобы защитить от меча и от пули. Судьба разлучила их под Компьеном, когда предательство сделало Жанну пленницей и мученицей. Д'Олон пережил ее, но записок не

оставил. Сохранились протоколы обоих процессов — руанского и Оправдательного.

На эти протоколы опирался Твен, как и все, кто писал о Жанне. Сьер де Конт — фигура вымышленная. И Паладин — неудачливый жених Жанны, хвастун, любитель приврать, но человек не знавший страха и безмерно гордый должностью знаменосца ее свиты, — тоже вымышлен. Как и еще один ее надежнейший друг — спасенный Девой от неправого суда и казни солдат богатырского сложения, которого французы шутливо называли Карликом, а англичане боялись, как чумы.

А все другие персонажи носят имена реальных лиц и изображены такими, какими встают со страниц судебных протоколов и хроник XV столетия. Мальчиком Твен однажды подобрал на улице выдранный из какой-то книжки лист, где говорилось о трагедии в Руане. И с той поры его мыслями завладела эпоха Столетней войны — величественная, когда он думал о Жанне, мрачная и жестокая, когда перед ним вставали фигуры людей, предавших ее и осудивших. Он изучил эту эпоху досконально и в своем романе воссоздал ее с наивозможной полнотой, обрисовав и подлинных героев того времени, и его зловещие тени.

Очень разные люди предстают перед читателем твеновской Жанны, но все они необходимы, чтобы приобрел целостность и завершенность образ рисуемого времени. Потому что все они принадлежат этому времени. И лихой, бесшабашный рубака Ла Гир, поддерживавший Жанну в самых дерзких военных операциях, но не осмелившийся нарушить королевскую волю и хотя бы попробовать пробиться к Руану, где святоши с французскими именами и проданной англичанам душонкой вершили свое черное дело. И ненавидевший Деву первый министр Карла VII де Тремуйль, властолюбивый и жадный хапуга, который продал бы всю Францию за жирную подачку от врага. И комендант осажденного Орлеана граф Дюнуа: ему, потомственному аристократу и рыцарю, хватило ума понять, что за Девой стоит народ, и склониться под ее белое знамя с французской короной на фоне лилий. И владелец этой короны Карл — трусливое ничтожество, безвольная игрушка интриганов в шитых золотом камзолах и кардинальских мантиях. И епископ из Бовэ Пьер Кошон, вполне оправдывавший свою фамилию, которая по-французски звучит так же, как слово «свинья», — тот, кто руководил руанскими судьями и выказал дьявольскую изобретательность по части ловушек, расставляемых для Жанны, и мучений, уготованных ей.

Уже в наши дни историки многое уточнили в картине тайной

борьбы своекорыстных интересов, политических амбиций и низких страстей, всколыхнувшихся, когда возглавленное Девой войско одерживало одну победу за другой. Твен не знал, что под Компьеном Жанна стала жертвой предателя — им был капитан Флави, формально служивший королю, а на самом деле купленный бургундцами. И что еще раньше, у стен Орлеана, для Жанны был приготовлен капкан, а Дюнуа на ночном совете власть имущих низко отрекся от нее. И что сеть заговоров, приведших к гибели Жанны, хитроумно сплетал внешне очень к ней расположенный монсеньор Реньо, архиепископ Реймский, — могущественное лицо при дворе Карла, соперник де Тремуйля, мечтавший о власти над Францией.

Однако Твен создавал не исторический труд, а роман, основывающийся на подлинных событиях истории. Мимоходом он заметит устами де Конта, что, должно быть, занялся пустым делом. Ведь история «должна сообщать важные и серьезные факты», должна учить. А у него выходят все больше пустяковые рассказы. О том, как Жанна дружила в детстве с волшебниками-лесовичками или как пчелы набросились на бычка, оседланного стариком Дарком, чтобы ехать на похороны, и бычок врезался прямо в погребальное шествие. Как бахвалился Паладин перед подгулявшими солдатами и как после яростной битвы сам де Конт разгонял шпагой призраков, поселившихся в замурованной гостиной дома, где он обосновался на постой.

Этим ироничным автокомментариям нельзя доверять. В «Янки из Коннектикута» подобные юмористические «пустяки» встречались несравнимо чаще и намного органичнее отвечали целям, поставленным перед собой Твеном. В «Жанне» они кажутся лишь вставными эпизодами, дополняющими картину истории. Де Конт не раз задумается над тем, что же это такое — история? И где ее справедливость? Отчего, рассуждая про жизнь «нации», король и его окружение всегда подразумевают верхушку, и только ее одну? Крестьяне, народные массы для них не лучше тяглового скота — пусть себе добывают «нации» пищу и другие блага, а всеми делами будет распоряжаться узкий круг тех, кто носит титулы и звания.

А ведь в действительности Франция — это народ. Лишь народу дано истинное право вершить судьбы страны, и когда-нибудь он еще воспользуется этим правом, пусть сейчас деревни разорены, нищие городские кварталы пришли в полное запустение, а их жители не помышляют ни о чем, кроме передышки от нескончаемых бедствий войны. Да, народ темен и забит, его поверья убоги и жалки, а радости ничтожны и мимолетны. Но никуда не исчезли, не могут исчезнуть искони

ему присущая вера в добро и жажда нравственной правды, за которую не жалко пожертвовать всем, даже жизнью.

И Жанна для ее секретаря — для самого Твена, конечно, — истинная святая по очень простой причине: «Она вышла из народа и знала народ… Прочна лишь та власть, которую поддерживает народ; стоит убрать эту опору — ничто в мире не спасет трон от падения». Так шатался трон Карла, пока Жанна, высоко подняв свое знамя, не выступила на защиту напрасно ею боготворимого «милого дофина» и своими победами, своим самоотверженным горением не завоевала ему поддержку народа, а уж затем — и коронацию в Реймсе, чего требовал освященный веками закон. Так задрожал престол английского короля Генриха VI, когда французы, десятилетиями расколотые на враждующие партии и занятые братоубийственной войной, объединились в патриотическом порыве, вдохновленном великим примером Жанны. Так всегда будет повторяться в истории.

Де Тремуйль, Реньо, Кошон и вся их свора, какому бы флагу они ни служили, ненавидят Жанну, потому что знают: ей, за которой стоит народ, принадлежит истинная власть, присвоенная ими лишь на время. И современникам, и потомкам казались чудом свершения простой крестьянской девушки, в считанные месяцы решительно изменившей ход войны, которая тянулась уже целый век. А Жанна была убеждена, что только исполняет миссию, открытую ей голосами ангелов. «Когда сражается сам господь, не все ли равно, какая рука держит меч — сильная или слабая?»

Она была человеком средневековья, простодушным и непоколебимым в своей вере. Но языком той эпохи она выразила мысль, важнейшую для Твена и подтвержденную всем опытом человечества: народ победить нельзя. Чудеса, в которых руанские судьи усердно отыскивали колдовство и козни дьявола, на деле были земным подвигом народа, ведомого Девой.

А подвиг Жанны поразителен. Она заставила англичан разжать тиски, туго стянутые вокруг Орлеана. В кровавом сражении при Патэ она разгромила основные силы противника, без единого выстрела вынудила капитулировать неприступную крепость Труа и совершила триумфальный марш к Реймсу, где Карл был провозглашен законным королем. Лишь интригами придворных и преступной беспечностью вчерашнего дофина был сорван ее план овладеть Парижем, что означало бы немедленное освобождение Франции. Одно ее появление под стенами занятых врагом городов вселяло неодолимый страх в сердца английских солдат и удесятеряло силы французов, которые, по словам Ла Гира, еще вчера испугались бы курицы, а теперь были готовы

штурмовать хоть врата ада.

Великая в бою, она была еще более великой в умении воодушевлять отчаявшихся. С детства не выносившая вида крови, она ушла на войну, зная, что таков ее долг, но ни разу меч Жанны не добил поверженного, не причинил горя и страдания обездоленным. Ее секретарь пишет: «Эта война была настоящим людоедом, который почти сто лет разгуливал на воле и перемалывал людей в своей кровавой пасти. И вот семнадцатилетняя девочка сразила его своей маленькой рукой — и он лежит на поле Патэ, и, покуда стоит наш старый мир, ему уже больше не подняться».

В этом де Конт, к сожалению, глубоко ошибся — людоеду предстояли куда более пышные пиры, вплоть до наших дней. Но Жанна воевала не ради упоения битвой. Не для воинской славы. Не для почестей. Она сражалась за свою поруганную родину, за справедливость, за то, чтобы война перестала опустошать французскую землю.

И в этом ее немеркнущая слава.

А кроме славы, была еще и награда.

Жанну обманом и предательством возьмут в плен бургундцы и за немыслимые по тому времени деньги уступят англичанам, чего особенно добивался кардинал Винчестерский, оспаривавший у монсеньора Реньо роль остающегося в тени, но подлинного властителя католического мира. И она выдержит томительные месяцы ожидания суда в темнице, где пленницу, закованную в цепи, ни на минуту не оставляли наедине с самой собой, и допросы, напоминающие пытку, и происки подсылаемых к ней шпионов в сутане, и неравный поединок с Кошоном, который любой ценой намеревался вырвать у Жанны отречение, чтобы получить обещанный ему за это крупный церковный чин.

Она будет сожжена на костре 30 мая 1431 года, девятнадцати лет от роду. До последнего мига Луи де Конт и еще один сподвижник Жанны, Ноэль Рэнгессон, пробравшиеся в Руан, будут с надеждой отчаяния ждать, что протрубит за углом в свой рог храбрый Ла Гир, или появится на взмыленном коне гонец, привезший выкуп от короля, или толпа, собравшаяся развлечься зрелищем казни, сметет стражу, растерзает Кошона и вызволит Деву из страшной беды. Но ничего этого не случится. Кошон и его хозяева отпразднуют свое мрачное — они еще не знают, насколько недолгое, — торжество. Высокий столб черного дыма взметнется над руанской рыночной площадью, послышится в последний раз голос Девы, громко читающей молитву, а потом палач, сняв обуглившееся тело, швырнет останки Жанны в зеленые воды Сены.

«Мы были молоды, да, очень молоды», — скажет об этом дне де Конт, на склоне лет вспоминая собственные молчаливые призывы к благодарной Франции, которая должна была ринуться на проклятый город, точно неудержимый океанский прилив, и спасти, освободить свою воительницу. Теперь он смотрит на вещи проще и мудрее, понимая, что бедняки не могли дать Жанне ничего, кроме моления о безотлагательном вмешательстве свыше. А Карл, этот венценосный осел, окруженный святошами и проходимцами, менее всего желал возвращения Девы. Она уже возвела его на царство. И стала слишком опасной. Ведь французские полки вело на битву ее знамя. За Деву — не за короля — шли они на смерть.

Но все равно стоит перед глазами рассказчика тот трагический день; и молчание толпы, ее бездействие, когда палач подносит пылающую головню к хворосту, наваленному вокруг позорного столба, останется самым сильным впечатлением от книги, хотя Твен вложил в уста де Конта немало пламенных слов о деяниях Жанны.

Патетика не убеждает, да она в данном случае и не нужна, потому что истинной наградой крестьянской девушке из Домреми стала неслабеющая память народа. Для Твена — по всему характеру его взглядов и творчества — важно, что Жанна еще почти ребенок: и в дни своей славы под Орлеаном и Патэ, и в дни мученичества на руанском процессе. Она — точно бы сама юность. И поэтому она прекрасна.

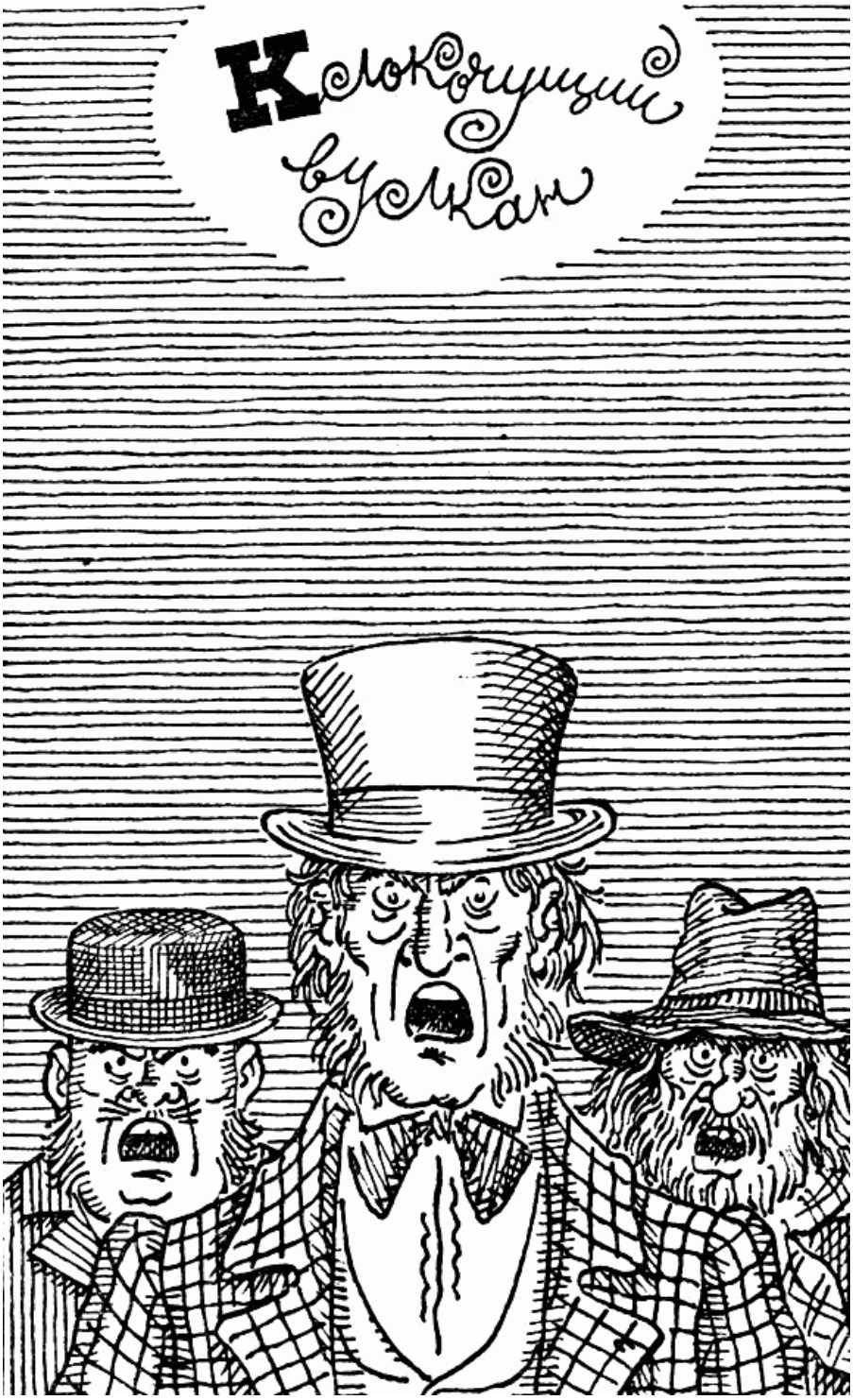
Детьми были принц Эдуард и Том Кенти, а Хэнку Моргану все королевство Артура представлялось «огромной детской». В «Жанне» эта любимая мысль писателя: только подросток, еще не вкусивший отравленных плодов взрослой жизни с ее двоедушием и практичностью, способен оставаться человеком, каким тот создан природой, — выражена отчетливее, чем в любом другом произведении Твена.

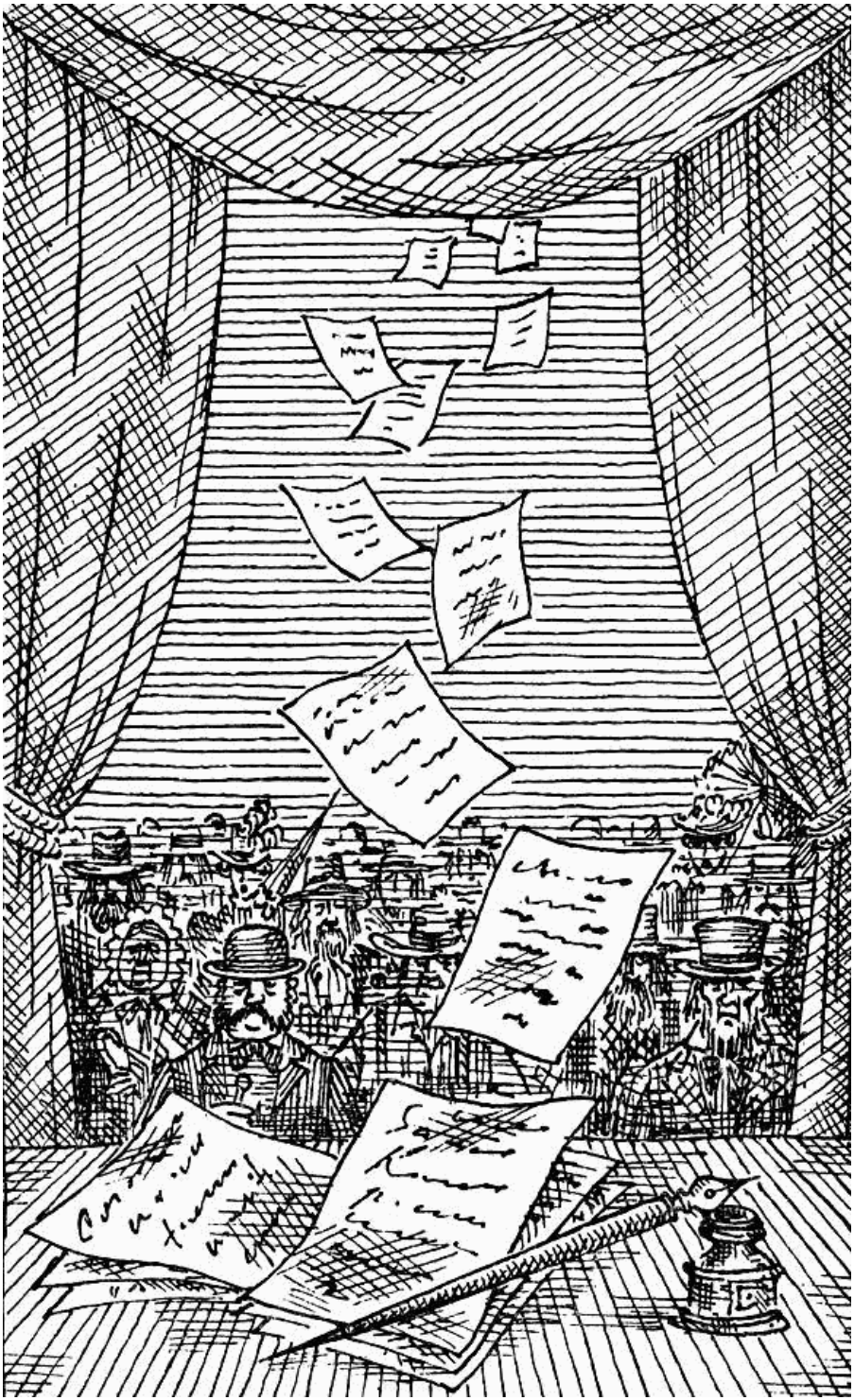
Этой отчетливости помог сам материал книги. В резком свете истории с необычайной ясностью проступали испытанные опытом истины о сущности человека. И, осмысляя уроки истории, Твен уже остерегался утверждать, как прежде, что человек неизменно прекрасен, а уродливы лишь порядки, существующие в обществе. Он теперь твердо знал, что эти порядки создает сам человек, а значит, сам за них отвечает. И уродства общества способны порождать низость и гнусность, малодушие и интриганство. И народ — это не абстракция, а реальные люди, которые способны становиться настоящими героями, но точно так же и толпой — равнодушной и жестокой.

«Жалкий род человеческий», — слова, вырвавшиеся у де

Конта, Твен повторит еще не раз в своих последних книгах. Но и в них сквозь сумрачные настроения будет пробиваться пламя великой любви и великого гнева, навеки обессмертивших имя Жанны д'Арк, чей образ будет жить в душе Твена до самого конца.

Клокочущий вулкан


Колокольный
вулкан



Он писал «Жанну» в трудное для Америки время. Страна

была охвачена экономическим кризисом. Газеты сообщали: безработных уже два с половиной миллиона, и это, очевидно, не предел. На занесенных снегом улицах перед запертыми фабричными воротами всегда дежурили оборванные, исхудалые люди. Полиция спешно пополняла свои боевые арсеналы. Опасались волнений и баррикадных боев.

Стояла зима 1894 года. Восемью годами раньше в день первого мая на Хаймаркетской площади Чикаго вызванные губернатором войска расстреляли рабочий митинг, вызвав мощную волну протестов, — так родился праздник пролетарской солидарности. А сейчас тоже следовало ожидать побоищ и расстрелов. Атмосфера накалилась. Твен с тревогой разворачивал газеты, сильно запаздывавшие к нему во Флоренцию.

Здесь Клеменсы жили уже давно. И не по собственной воле. Еще в 1891 году они покинули дом в Хартфорде, чтобы в него не вернуться. Дела семьи находились в тяжелом состоянии. Никто бы не поверил, что прославленному писателю приходится настолько туго.

Всему виной была наборная машина, изобретенная неким Пейджем.

У Твена еще в юности пробудилась страсть к технике. Он горячо интересовался каждым новшеством: первым из литераторов установил у себя домашний телефон, первым начал печатать рукописи на машинке, а исправлять их авторучкой, первым испытал фонограф, на который диктовал письма. Пробовал кое-что придумывать сам — то железнодорожный тормоз, то вечный календарь, то приспособление для склейки конвертов. Разработал проект магистрали от Стамбула до Персидского залива. Убеждал своих богатых знакомых поддержать польского инженера Щепаника, предложившего схему прибора, отдаленно напоминающего современный телевизор.

Эти затеи обычно кончались ничем, причиняя умеренный убыток. С печатным станком получилось иначе. Твен в молодости провел у наборной кассы не один десяток часов и знал, до чего это выматывающий труд. Идея Пейджа увлекла его бесповоротно. Но машина — чудо механики, как ее называл Твен, — упорно не желала работать. Требовались усовершенствования, а они стоили огромных денег. Так продолжалось много лет. В итоге у Твена не осталось ни гроша. А станок за сотню долларов приобрел один музей. Типографии предпочли одновременно появившийся линотип.

К этой неудаче добавился новый удар. Рассорившись с издателями, Твен решил создать собственную фирму. И не выдержал конкуренции, хотя пользовался необыкновенной

популярностью среди читателей. Фирма обанкротилась, просуществовав всего несколько лет. Твен поставил целью выплатить ее долги до последнего цента. Он был честный человек. А поэтому — плохой бизнесмен.

В Америке конца прошлого века большие деньги делались быстро. Только для этого нужно было раз и навсегда позабыть о порядочности и о снисхождении к сопернику. Америка сильно изменилась, в ней неуютно чувствовали себя люди, воспитанные на старомодных понятиях нравственной обязательности и добрососедства. Теперь настали другие времена.

Твен нашел для них удивительно емкое и точное определение: «позолоченный век». Бывают в истории эпохи, справедливо именуемые золотым веком, потому что в такие периоды особенно быстро и плодотворно развивается наука, или философия, или искусство. Страна переживает свой расцвет, и об этой поре еще долго вспоминают потомки. После Гражданской войны судьбы Америки переломились, и для нее словно бы вправду началось новое летосчисление. Кому-то — даже многим — казалось, что произошел долгожданный взлет, настало время процветания и счастья.

Но это была иллюзия. А в действительности век был не золотым. Именно «позолоченным».

Позолота способна скрыть любое убожество, любую нищету. Невнимательному наблюдателю тогдашней американской жизни открылась бы картина самого бурного прогресса. Как на дрожжах росли города, заводы, электростанции, стальные нити рельсов тянулись через недавнее безлюдье, огромные пароходы каждый день высаживали на морских пристанях тысячи иммигрантов из всех стран света.

Безвкусная роскошь особняков и поместий новоявленных богачей должна была наглядно убедить, что деловая хватка и напор обязательно вознаграждаются в этой стране, будто бы всем предоставляющей равные возможности — сумей только выиграть в бешеной гонке за миллионом.

Ну чем не золотой век! А чуть поодаль от дворцов лепились лачуги рабочих предместий и дети копошились в непролазной грязи среди отбросов. Статистика свидетельствовала: каждый четвертый житель Америки голодает, каждый шестой — недавний переселенец из Старого Света или из Китая, заведомо лишенный возможности подыскать сносную работу. Периодически разражались скандалы, в которых были замешаны самые достопочтенные американские граждане, на поверку оказывавшиеся взяточниками и мошенниками. Даже Генри Бичер — знаменитый проповедник, брат той самой Гарриет Бичер-Стоу,

которая написала «Хижину дяди Тома», воспламенившую сердца либералов и противников рабства, — запятнал себя, погнавшись за бесчестными деньгами. Богач Гулд подкупил его, вручив кругленькую сумму за обещание рекламировать с кафедры и с газетной страницы акции Северной Тихоокеанской дороги.

Этого Гулда Твен особенно не выносил, считая олицетворением вульгарности и порочности «позолоченного века»: «Раньше люди всего лишь стремились к богатству, он же их научил простираться ниц перед богатством, боготворя миллион, словно идола». Все раздражало писателя в его родной стране, которую он переставал узнавать по мере того, как год от года стремительнее становились ритмы капиталистического «прогресса». И Твен стремился понять, когда же произошел тот сдвиг, после которого все так резко переменилось к худшему. После Гражданской войны? Или еще раньше?

А впрочем, не так уж существенно, когда именно это случилось. Так или иначе, ушла в прошлое эпоха, еще дорожившая твердыми моральными принципами и высокими устремлениями души. На смену ей явилось время ожесточения каждого против всех, циничности и поклонения успеху.

Позднее Твен скажет об этом времени еще резче: «Страна разложилась сверху донизу». Это — из «Автобиографии», 1906 год. Американским читателям пришлось долго дожидаться публикации твеновских записок о самом себе. Пройдет более полувека, прежде чем появится сравнительно полное издание книги, которой Твен, зная, что ее не напечатают при жизни, предпослал вступление, озаглавленное «Из могилы». А когда «Автобиография» все-таки увидит свет, выяснится, насколько проницательным был Твен в своих оценках окружавшей его действительности. Во времена его молодости, вспоминал Твен, «порядочность у нас в Соединенных Штатах не была редкостью». Но та пора давно миновала. Теперь же и среди конгрессменов не сыскать ни одного, который, приняв взятку, по крайней мере, сделал бы то, за что ее брал. Ничего не добиться, не выложив тысячи какому-нибудь чиновнику, зато с деньгами легко добиться чего угодно. На американских монетах выбит девиз «В господа веруем». Надо бы уточнить: «Веруем в республиканскую партию и в доллар. Прежде всего в доллар».

Эти крамольные мысли Твен тщательно скрывал — даже от Ливи и от дочерей, не любивших, когда «папа сердится». А он уже не мог сдерживать раздражение и гнев, каждое утро читая в газетах о баснословных барышах Рокфеллеров и гулдов, о забастовках и голодных бунтах дошедших до отчаяния людей, о самоубийствах разоренных, о линчеваниях, о предательствах,

подделанных завещаниях, банкротствах, денежных авантюрах и ловких махинациях пройдох без стыда и совести.

Когда-то на Гавайских островах он любовался могучим вулканом, нависшим над опрятными улочками Гонолулу. Вулкан в ту пору был спокоен, и к нему устремлялись экскурсанты, добиравшиеся почти до кратера по крутым каменистым тропинкам. Но на много километров вокруг все было припорошено мягким серым пеплом — напоминание о недавней вспышке. И в недрах кратера подрагивало пламя. Активности можно было ожидать в любую минуту.

Марк Твен в последние двадцать лет своей жизни походил — так ему и самому казалось — на такой вот клокочущий вулкан, от которого все время исходит угроза взрыва. Время от времени происходили сильные толчки: он публиковал рассказы и памфлеты, непримиримостью заключенного в них обличения всевозможных язв и уродств американской жизни ужасавшие и Оливию Клеменс, и самых близких друзей, не говоря уже о широкой публике. В юмористе пробудился сатирик. А стародавние — еще времен «Тома Сойера» — мечты о «зеленой долине, залитой солнцем» отодвинулись куда-то очень далеко, уступив место злой иронии, замешенной на разочаровании и скепсисе.

Америка сделала все для того, чтобы приглушить силу этого яростного извержения. И тем не менее повсюду в читающем мире были слышны его раскаты.

Свое малопочтенное имя «позолоченный век» получил от заглавия романа, написанного Твеном совместно с литератором Чарлзом Уорнером, его соседом по Хартфорду, и опубликованного еще в 1874 году. Твен, надо сказать, не любил романы в строгом значении этого слова — с обязательной любовной интригой, борьбой за наследство, случайными происшествиями, двигающими вперед развитие сюжета, с провинциалами, приезжающими завоевывать столицы, и светскими дамами, скучающими на модных курортах. Он считал, что в литературе не следует изобретать персонажей, которые самому автору никогда не встречались, да и вообще незачем выдумывать — «это дело богов, а мы, смертные, способны только снимать более или менее точные копии».

Зато Уорнер набил руку на такой беллетристике. Писал он непринужденно, занимательно, но всегда по готовым шаблонам, уверенной рукой ведя дело к благополучной развязке, когда добродетель торжествует, а порок повержен. Вряд ли мог выйти толк из сотрудничества настолько разных писателей. И действительно, роман получился разноплановым и

разностильным. Твена узнать в нем легко — его главы отличаются от написанных Уорнером, как живые цветы от бумажных. Книга как единство не состоялась.

Впоследствии Твен говорил, что в «Позолоченном веке» ему принадлежит фактология, а красоты художества — это достояние Уорнера. Сегодня для читателя романа интерес сохранили только «факты». Твен взял их из собственной семейной хроники. Под именем Селлерса он изобразил своего дядю Джеймса Лэмптона — фантазера и чудака, который всю жизнь носился с дерзкими и совершенно беспочвенными проектами быстрого обогащения, а своих домашних и гостей потчевал обедом из пареной репы и слегка подсахаренной воды. Это герой очень типичный для тогдашней эпохи. Как множество других, Селлерс заразился болезнью предпринимательства и уверовал в миражи богатства, будто бы валяющегося прямо под ногами у каждого, кому не занимать смекалки и инициативы. Однако в реальной жизни для незадачливых авантюристов нет места, и, терпя одно поражение за другим, они скатываются по лестнице престижа на самые низкие ступени, чуть не до последнего своего часа разрабатывая новые — и уж на сей раз, конечно, безошибочные — планы процветания.

Знаменитая «теннессийская земля», о которой еще в детстве Твен столько наслушался за семейным столом, тоже описана в «Позолоченном веке». Когда Твен принялся за роман, об этом владении Клеменсов, породившем множество пустых надежд, уже почти и не вспоминали. Лишь Орион, старший брат писателя, все еще надеялся выгодно сбыть с рук пустующий огромный участок. Орион появится на страницах романа. Здесь его зовут Вашингтон Хокинс, и он так же невезуч, как неудачлив был в реальной жизни Клеменс — старший.

А вокруг «теннессийской земли» разгорятся жаркие страсти. Возникнут дутые планы строительства города Наполеона и развития судоходства по реке Колумба, к ним прибавится идея открытия университета для негров. И поднимется такая суета, что оборотистым дельцам оставалось только расставить сети, чтобы вылавливать крупную рыбу в этой мутной воде.

Как раз в это время газеты были заполнены подробностями скандала с железнодорожной компанией «Креди мобилье». Ее учредители, подкупив видных чиновников, ведавших казенными деньгами, сорвали приличный куш, а затем объявили о банкротстве и пустили по миру сотни мелких акционеров. Спрятать концы в воду не удалось, а может, пожадничали, поднося чек прокурору, но так или иначе — начался судебный процесс. Быстро нашелся и основной виновник — сенатор Помрой

от штата Канзас, уже и прежде попадавшийся на сомнительных инициативах. В романе это сенатор Дилуорти, краснобай и жулик, каких Твен перевидал десятки, когда после Невады был одно время репортером в американской столице.

Специальность Дилуорти — входить в контакт с нужными людьми, давать взятки и убеждать публику, что черное на самом деле белое, и наоборот. Избиратели слушают его речи разинув рот, а тем временем Дилуорти по-своему толково ведет дело, твердо рассчитывая на солидное вознаграждение за хлопоты и труды по облапошиванию простачков. Он вовсе не одинок, этот Дилуорти, просто он и даровитее, и колоритнее многочисленных аферистов, обчищающих карманы доверчивых нью-йоркцев, а заодно и государственные фонды. Как он трогателен на митинге общества трезвости или, к примеру, среди дам-благотворительниц, шьющих сорочки для полинезийских дикарей, которых вскоре обратят в христианство! Дилуорти и сам сделал несколько стежков на рубашке, тут же признанной прямо-таки «священным предметом». А вечером он уже обмозговывает очередную жульническую затею и тут же прикидывает, кому и сколько надо будет дать в Конгрессе.

В конце концов Дилуорти терпит поражение. Нет, он отнюдь не намерен покидать арену политики. Просто его уверенность в себе несколько поколебалась. Нашелся высокодобродетельный человек, который разоблачил мошенника в сенате. Его имя — Ноубл — такое же значимое, как, допустим, Правдин у Фонвизина в «Недоросле». И на живую, полнокровную личность он похож не больше, чем фонвизинский резонер и правдолюб.

Своим появлением в романе он обязан Уорнеру. Твен язвил и показывал вещи, как они есть. Уорнер предпочитал душещипательные ситуации и всячески смягчал получавшуюся у соавтора невеселую картину. Он ввел в повествование не только Ноубла, но еще и безукоризненно честного старателя, а также его невесту, не желающую жить на дивиденды с отцовского капитала и посвятившую себя изучению медицины. У этой четы все очень благополучно устраивается, а читатели должны почерпнуть из рассказанной им пресной истории моральный урок.

Они, однако, без колебаний предпочли твеновские сатирические главы. «Позолоченный век» был замечен не только в Америке. Некрасов и Салтыков-Щедрин, в ту пору возглавлявшие журнал «Отечественные записки», отдали должное его бичующей иронии. Роман был переведен и опубликован сразу по его появлении и положил начало славе Марка Твена в России.

А прожектер Селлерс через много лет вновь представится читающей публике. В повести «Американский претендент» (1892)

он одержим новой фантазией — воскресить мертвецов и, отобрав самых прославленных, самых дальновидных и благоразумных, заменить ими живые трупы, которые занимают все важнейшие чиновные должности. Намечалась богатая творческими возможностями сатирическая коллизия. Но Твена слишком увлекла сама комичность положения его героя, прячущегося от бакалейщика, которому он задолжал три с чем-то доллара, а в своем воображении уже ворочающего колоссальными суммами.

Другой центральный персонаж — английский граф, решивший, что за океаном он встретит подлинное равенство и начнет «правильную» жизнь, — поселяется в захудалом пансионе, чтобы тут же убедиться, как он был наивен, судя об Америке издалека. Вблизи она оказывается страной, где всевластно «грубое подхалимство», а неудачников забивают насмерть: пусть «не портят породу». Впрочем, и эта линия быстро обрывается, и повесть начинает сильно напоминать ранние беспечные юморески Твена.

«Американский претендент» тоже был переведен в России сразу по выходе в свет, причем печатался почти одновременно в трех журналах. Дело объяснялось, конечно, популярностью Твена, к тому времени у нас очень большой. Но не только ею. Есть в повести мотив, особенно близкий русской публике. Среди прочего Селлерс замышляет купить у царя Сибирь, где пора насаждать цивилизацию. Его представления о Сибири, мягко говоря, туманны. Но Селлерс слыхал, что сибирские просторы бесконечны и никем не тронуты. И он возмущается: царские министры считают, что Сибирь пригодна для одной цели — для того, чтобы ссылать в эту глухомань революционеров и неугодных.

Цензура свирепствовала, и в журнале «Русское обозрение» Селлерсу пришлось толковать не о Сибири, а о Турции, в «Художнике» и «Наблюдателе» — вообще мимоходом коснуться своего дерзкого намерения. Но этот вынужденный маскарад вряд ли обманул наших читателей. Они знали, что это за Турция, в которой все снег да снег, куда не погляди. И по обрывочным замечаниям Селлерса о «благороднейших людях», которых увозят на «далекие острова», они без труда догадывались, что имеется в виду.

На страницах «Американского претендента» упоминания о России кажутся случайными — мало ли какая нелепость взбредет в голову увлекающемуся Селлерсу! Но на самом деле случайности тут не было. Потому что Россия интересовала Твена давно с ходом лет — все сильнее.

Еще весной 1879 года он познакомился в Париже с

Тургеневым и просил издателей послать русскому классику свою книгу «Налегке».

Хоуэлс, ближайший из его литературных друзей, был страстным поклонником и пропагандистом русского романа — Тургенева, Толстого; наверняка, о них не раз заходила речь в беседах у камина в хартфордском доме или на тенистых аллеях парка в Элмайре. А когда шла работа над «Янки из Коннектикута», Твен посещал лекции журналиста Джорджа Кеннана — самого осведомленного знатока России, какого в ту пору можно было встретить за океаном.

Кеннан только что вернулся из длительного путешествия от Петербурга до Кары, где бессрочные ссыльные работали на серебряных рудниках, и писал книгу «Сибирь и ссылка». Его потряс осмотр сибирских тюрем, глубоко взволновали рассказы политических заключенных и исковерканные царским террором судьбы, которые прошли перед глазами корреспондента «Сенчури». Он виделся с Толстым, с Короленко, с сосланными народниками, с простыми людьми, обвиненными в сочувствии революционному движению. Из России Кеннан вывез десятки мелко исписанных блокнотов и поручения осужденных своим товарищам — эмигрантам, которые исполнил со всей добросовестностью. А дома, не дожидаясь, пока будет завершена книга, начал выступать в переполненных залах, делясь своими впечатлениями и призывая оказать действенную помощь русским «террористам», которых он «с гордостью назвал бы своими братьями и сестрами».

Твен несколько раз был на этих выступлениях. И, покидая зал, однажды заметил: «Если подобное правительство нельзя обуздать иначе, как динамитом, то хвала динамиту!»

Это было сказано не под влиянием минуты. Взгляды Твена менялись глубоко и основательно. В 1891 году в Америку приехал писатель-народник Степняк-Кравчинский, издававший в эмиграции журнал «Свободная Россия». Между ним и Твеном завязалась переписка. Твен без обиняков назвал политику царя «чудовищным преступлением», а о революционерах отозвался с самым искренним восхищением: «По доброй воле пойти на жизнь, полную мучений, и в конце концов на смерть только ради блага других — такого, я думаю, не знала ни одна страна, кроме России».

Он мечтал дожить до того времени, когда «удалось бы увидеть конец самого нелепого обмана из всех, изобретенных человечеством, — конец монархии». Может быть, и об этом говорил он с Горьким, когда они встретились в 1906 году. Трудовая Америка приняла Горького восторженно, официальная

— с неприязнью, вскоре перешедшей в травлю. Твен произнес речь на приеме, который давали Горькому американские литераторы. Он говорил о том, что считает долгом каждого человека помочь грядущей республике, которая обязательно придет на смену Российской империи. А в письме, отправленном одному из друзей, выразился еще яснее: «Я приверженец революции — по рождению, воспитанию, взглядам, по всем своим понятиям».

Но у него не хватило твердости выступить против газетных клеветников и оскорбленных в своей убогой благонамеренности обывателей, когда они подняли истерический вой, обвиняя Горького во всех смертных грехах. Легко осудить за это Твена, как легко обнаружить и непоследовательность в его суждениях, свидетельствующих, что революцию он себе представлял довольно поверхностно. Да, он во многом заблуждался и не нашел в себе сил порвать с той средой, в которой протекала его жизнь.

Но все-таки не это самое главное. Твен прошел трудный путь духовных и нравственных исканий, расставшись со многими иллюзиями и честно служа правде, как он ее понимал. С годами в нем крепло убеждение, что нормы и принципы, принятые в окружающей действительности, несовместимы с человечностью, справедливостью и демократией. И у Твена достало мужества сказать об этом ясно и четко, вызвав на себя огонь со стороны поборников буржуазного мироустройства, шокированных его идеями.

Он был великим гуманистом и поэтому — великим художником.

И Горький это почувствовал при первом же знакомстве, написав о Твене с неподдельной теплотой: прекрасен был «умный и острый блеск серых глаз» старого писателя, который как будто лишь кажется стариком, потому что «его движения и жесты так сильны, ловки и так грациозны, что на минуту забываешь его седую голову».

Горький ощутил в нем проницательный ум, неизрасходованную силу таланта и честность, не признающую компромиссов.

Твеновские памфлеты, созданные в последние годы творчества, лучше всего подтвердили верность такого впечатления.

Однажды он признался Хоуэлсу, что «подрезает коготки» своей сатире. Речь шла о «Томе Сойере». С того давнего разговора утекло немало воды. Положение не переменилось. Но «подрезать коготки» делалось все труднее.

Конечно, Твену было совсем не просто вступать в прямой конфликт с людьми, среди которых он жил много лет. А все-таки конфликт, пусть тщательно скрываемый и смягчаемый, становился неизбежностью. Твен никому не показывал некоторые свои рукописи — опасался тяжелых объяснений. На других листках его рукой густо вымараны строки и целые абзацы. Точно бы он сам пугался того, что написал.

Он задумал книгу в форме посланий, которые сочиняет, но не отправляет наблюдательный, желчный и остроумный современник, не оглядывающийся на ходячие мнения и знающий истинную цену вещам. От нее сохранились только фрагменты. И предисловие. В нем охарактеризован автор этих писем никуда. «Он пишет, чтобы дать выход своей злости. При этом он похож на вулкан. Мало проку всего лишь воображать извержение. Нет, надо, чтобы кратер задымился и хоть немного лавы вышло на поверхность, иначе не ощутить облегчения».

Вряд ли можно точнее сказать о настроениях самого Твена в его последние годы.

Лава и вправду вырывалась на поверхность, и горе было тому, кого подхватывал ее неудержимый, испепеляющий поток. А читатели с чутьем и слухом ощущали, что вулкан лишь начинает приходить в движение. Страшно подумать, какие разрушения он произведет, когда извержение достигнет своего пика!

О разрушениях, которые Твен произвел в бастионах лжи и в сознании своих соотечественников, тогда еще буквально порабощенном бесчисленными предрассудками и дутыми амбициями, стало возможно судить только в наши дни, когда его памфлеты, наконец, изданы более или менее полно. Но и того, что писатель напечатал при жизни, с лихвой хватило, чтобы пролег рубеж резкого размежевания между американскими казенными патриотами и сатириком, откликнувшимся на империалистические войны и захваты, на всесилье богатства, не бесправие угнетенных. Это был негодующий отклик. Оружие Твена сражало наповал.

Памфлет — жанр очень старый. Трудный жанр. Здесь куда как просто сбиться на грубоватый шарж или на оглушающую патетику. Автор должен научиться сдерживать ярость, которая водит его пером, не то останется голая эмоция, а искусство исчезнет. Памфлетисту важна тщательно продуманная маска. Он словно бесстрастный протоколист, хотя под его мнимой безучастностью кипит негодование. Он с самым равнодушным видом излагает события невозможные, но обнаруживающие реально присущие тем или иным людям свойства с такой же наглядностью, с какой выступают едва заметные переливы

окраски, когда положишь растение или бабочку под увеличительное стекло.

Едва ли не самым блестящим мастером памфлета был Свифт, автор «Гулливера». Твен чувствовал свою родственность этому писателю. И когда хотел кого-нибудь особенно похвалить, помечал на полях книги: «Почти как у Свифта».

Сам он овладел нелегким этим ремеслом не сразу. Но когда овладел, сразу же занял место среди крупнейших сатириков, и не только своей эпохи. Произошло это еще в годы между «Геком Финном» и «Янки из Коннектикута». Тогда и был создан один из его лучших памфлетов, спрятанный глубоко в стол и извлеченный на свет душеприказчиками лишь через шестьдесят лет, — «Письмо ангела-хранителя».

Кому оно адресовано, это письмо? Эндрю Лэнгдону, угольному магнату из Буффало. Лэнгдон? Да ведь и Оливия до того, как стать миссис Клеменс, была мисс Лэнгдон. А ее отец возглавлял угольную компанию как раз в Буффало.

Однако Твен писал вовсе не для того, чтобы задним числом свести старые семейные счеты. Какой-нибудь Гулд узнал бы себя в облике Эндрю Лэнгдона даже скорее, чем тесть Твена или дядя его жены, который, как считается, стал прообразом этого персонажа. Тут дело не в реальных лицах, а в психологии и мышлении крупного промышленника. В родовых чертах, присущих всем людям такого типа.

Твен попытался вообразить, о чем они втайне мечтают, о чем молятся, когда никто не может их услышать, кроме ангела-хранителя. От ангела не укрыться, перед ним незачем лицемерить. И Эндрю Лэнгдон приоткрывает свои заветные желания. А из небесной канцелярии поступают санкции или запреты.

Пошли нам, боже, похолодание, чтобы антрацит вздорожал еще больше. — Удовлетворено.

Пошли безработицу, чтобы еще больше снизить зарплату шахтерам. — Удовлетворено.

Пошли болезнь и разорение конкурентам. — Удовлетворено с оговорками: они ведь столь же примерные христиане, как и Лэнгдон.

Пошли циклон, чтобы затопило шахты безбожников из Пенсильванского треста. — Задержано ввиду временного отсутствия циклонов по причине зимнего времени.

Пошли мор и напасти надоедливым просителям, которых вечно преследует бедность. — Отклонено, поскольку противоречит действиям Лэнгдона, не так давно пожертвовавшего

целых шесть долларов своей нищей родственнице, у которой умер ребенок.

Легко вообразить, какая поднялась бы буря, посмей Твен отдать в газеты этот свой памфлет. Разного рода миллионерам, правда, нравилось изображать покровителей искусств и чуть ли не либералов, но существовала черта, которую было рискованно переходить даже Твену при всей его славе. И филантропические литературные затеи богачей на поверку всегда оказывались только хитроумной формой саморекламы. А обижать себя они бы никому не позволили.

Миллионер Карнеги, например, предоставил Твену средства для того, чтобы издать брошюрой «Монолог короля Леопольда» — памфлет, от которого отказались напуганные его содержанием журналы. Бельгийский король Леопольд II в конце прошлого века установил свою власть над обширным бассейном реки Конго и варварски расправился с африканцами, при этом старательно делая вид, что он действует во имя цивилизации и христианства. Твен, называвший Леопольда не иначе, как «кровавым чудовищем», предоставил в памфлете слово этому редкостному фарисею и ханже, и чем пространнее говорил король о собственной возвышенной миссии, тем более явны делались его подлинные мотивы — разгулявшийся аппетит хищника и неимоверная жестокость. Так что же могло привлечь Карнеги в этом произведении? А очень просто: между хищниками уже вовсю шла грызня, и среди своих противников Леопольд поминает американских воротил. Включая и Карнеги.

Николай II тоже произносит монолог, пытаясь оправдаться за 9 Января, когда с помощью провокатора Гапона в Петербурге расстреляли рабочую демонстрацию. Подобно Леопольду, русский царь в памфлете Твена оставлен наедине с собой, чтобы не было необходимости лукавить из дипломатических соображений. И он даже по-своему искренен, когда утверждает, что поступил мудро и справедливо, отдав приказ стрелять в безоружных. Ну как же, ведь красная зараза угрожает трону, и трещит по швам монархия, простоявшая триста лет. Это ли не причина, чтобы нагайками и штыками проучить обнаглевшую голытьбу!

Твен умел глубоко спрятать авторский сарказм. Эффект получался еще убийственнее, когда «герои» его памфлетов принимались исповедоваться перед самими собой, отбросив казуистику. Но в других случаях он предпочитал говорить открыто — как публицист, как обвинитель на процессе, где судят насильников и расистов, мародеров в генеральских мундирах и

растлителей с библиями в руках.

Америка спровоцировала вооруженный конфликт с Испанией, быстро разгромив армию этой отсталой страны и прибрав к рукам ее колонии. На Филиппинах местные жители оказали экспедиционному корпусу американцев под командованием генерала Фанстона упорное сопротивление. Усмиряя непокорных аборигенов, Фанстон проявил столько вероломства, что даже военное начальство попеняло ему за чрезмерное усердие. А Твен назвал свой памфлет «В защиту генерала Фанстона». И то сказать, разве виноват Фанстон, что «его совесть испарилась, когда он еще был маленьким»? Пристрастие к особенно гнусным поступкам, конечно же, внушила ему сама природа. Правда, по каким-то таинственным причинам природа в последнее время производит лишь таких генералов и бонз, которых тянет не к «моральному золоту», а «моральному шлаку». Но это уж, видимо, ее загадка, перед которой совершенно бессилен человеческий ум.

«Моральный шлак» — у позднего Твена это одно из ключевых понятий. Повсюду обнаруживал он свидетельства глубокого нравственного падения. И никакая демагогия не могла его обмануть. Сообщая об очередном случае линчевания, газеты не скупились на фальшивые слезы, но непременно подчеркивали, что подобные жестокости вовсе не типичны для Америки — просто кое-где нравы еще слишком несдержанные. А Твен в поразительно резком и смелом своем памфлете называл родину «Соединенными Линчующими Штатами». Миссионеры, вернувшиеся из дальних краев, расписывали свои успехи в деле просвещения туземцев, «обретавшихся во тьме». А в памфлете Твена от имени святош говорилось: «Да, мы лгали… мы предали слабых, беззащитных людей… мы силой отняли землю и свободу у верившего нам друга… но все это было к лучшему», поскольку еще одна территория теперь отошла под власть всемирного треста грабителей, именующего себя «Дары Цивилизации».

Едва ли не решающим событием в духовной биографии Твена после «Гека» и «Янки» явилось кругосветное путешествие, предпринятое в 1895 году. Долги вынудили шестидесятилетнего писателя вновь вернуться к публичным чтениям. Поездка началась с Канады, потом маршрут пролег через Австралию, Индию, Цейлон, Южную Африку. Оливия и Клара любовались экзотической природой и памятниками истории, Твен отлеживался в гостинице, собирая силы для вечернего выступления в душном, битком набитом зале. Возвращения в Лондон, где тогда обосновались Клеменсы, он ждал нетерпеливо, словно заключенный, заканчивающий свой срок. А в Лондоне была получена телеграмма о тревожном состоянии его дочери

Сюзи. Через два дня пришла страшная весть: Сюзи умерла.

Оливия узнала об этом уже по прибытии в Америку. Твен не смог ее сопровождать — он должен был немедленно приниматься за свою книгу путевых заметок. Чтобы эту книгу раскупали, будущих читателей требовалось побольше развлекать колоритными описаниями и потешными сценками. Надо ли говорить, какой ценой давался писателю этот юмор!

Книгу он назвал «По экватору», она появилась через год после путешествия и помогла избавиться от кабалы кредиторов. Смешные страницы в ней нечасты да и не слишком удачны — по-другому и не могло быть… Зато она содержала пространные размышления Твена над всем увиденным вдоль экватора, в колониях, находившихся под властью Англии.

Многого он не сумел понять, поверив старому мифу о благотворности английского влияния на «дикарей» и о тяготах, которые доставляет это «бремя белого человека», воспевавшееся Редьярдом Киплингом, чья звезда в ту пору высоко взошла на литературном небосклоне. А о многом Твен и судил понаслышке. Чиновники английского губернатора рассказывали ему об ожесточении сипаев, индийских солдат на британской службе, поднявших в 1857 году восстание, вскоре сделавшееся всенародным. О том, что привело к этому восстанию — о гнете, терроре и грабежах, которыми англичане занимались в Индии еще с XVI века, — они умалчивали. Твен тоже не коснулся этой больной темы. Хотя тем самым искажалась истина.

А все-таки книга оказалась ярким обличительным документом, в котором показана подлинная роль колонизаторов и в Африке, и в Азии, и в Новой Зеландии. За тысячи миль от родины Твену часто вспоминался Ганнибал рабовладельческих времен: слишком бросалось в глаза сходство. Официально в колониях не существовало рабства, но как иначе можно было назвать насаждаемую штыком и крестом систему бесправия, насилия, истребления коренных жителей. Не проходило дня, чтобы Твен не столкнулся с этой системой в действии. И на страницах его очерков через вымученные шутки и пересказы занимательных легенд пробивалась горькая, суровая правда о кровавых трагедиях, разыгравшихся вдали от европейских берегов. О расхищении природных богатств, об ужасающей нищете туземцев, об эпидемиях, косивших их тысячами, о безнаказанности колониальных властителей, обитающих в сказочной роскоши.

«Я многое передумал, — заявит Твен, вернувшись в 1900 году в США после девятилетнего отсутствия. — Теперь я антиимпериалист».

Своей позиции он не изменит до самого конца.

Каждой главе книги «По экватору» предпослан эпиграф из некоего никому не известного сочинения, называющегося «Новый календарь Простофили Вильсона». Эпиграфы забавны и поучительны. Например: «Когда не знаешь, что сказать, говори правду». Или: «Человек, кричащий о своей скромности, подобен статуе, прикрытой лишь фиговым листком».

Но порой эти сентенции развеселят разве что тех, кто всерьез не хочет думать ни о чем. Вот хотя бы эпиграф, поставленный перед рассказом об английских каторжниках в Австралии: «Все человеческое грустно. Сокровенный источник юмора не радость, а горе. На небесах юмора нет».

А случается, «Календарь Вильсона» окрашен и совсем уж в мрачные тона. «Человек — единственное животное, способное краснеть», — замечает Простофиля. Чтобы тут же добавить: «Впрочем, только ему и приходится». Это перед главой о палаче Тасмании Робинсоне, который печатным объявлением предупредил неграмотных аборигенов, чтобы они не смели покидать свою резервацию в песках, а затем жестоко их покарал за нарушение запрета.

В записных книжках Твена, относящихся к этому же времени, грустные, а то и беспросветные мысли о природе человека встречаются все чаще. Кажется, трудно поверить, что эти записи сделаны тем же юмористом, который лет тридцать назад беззлобно подтрунивал над невезучим укротителем велосипеда и заядлыми спорщиками, похваляющимися необыкновенной лягушкой. Как резко все переменилось в его ощущении мира!

С юмористами, правда, такое случается часто. Вспомним Гоголя, перечитаем «Сорочинскую ярмарку» или «Майскую ночь» — разве не поразят после этих жизнерадостных, искрящихся и солнечных страниц мрачные краски «Петербургских повестей» и многих эпизодов в «Мертвых душах»? И дело не только в том, что Гоголь как художник глубоко переменился с ходом лет. Дело еще и в коренных особенностях юмора. У великого писателя юмор — это всегда способ понять важнейшие законы жизни и сущность людей. А эти законы и человек, находящийся под их властью, не каждому внушат чувство радости. Скорее, наоборот, побудят с недоверием отнестись к оптимистам, слишком уверенно утверждающим, что жизнь прекрасна, если не считать временных и преходящих сложностей, несовершенств, неурядиц.

В свои последние годы Твен писал трактат, названный «Что есть человек». Эта рукопись осталась неопубликованной. Видимо, писатель страшился неизбежных резких нападок, да и не был до конца удовлетворен сделанным. Он не был ни теоретиком, ни

мыслителем в строгом значении слова. И исходил он не из абстрактных философских выкладок, а из накопленного им самим огромного опыта. Но этот опыт целиком почерпнут из наблюдений над обществом, в котором жил сам Твен. А разъедающие язвы этого общества ему были видны яснее, чем любому другому американскому писателю того времени. И когда Твен отзывался о человеке без малейшего умиления и восхищения, он, собственно, судил общество, уродующее человеческую личность. Он оставался сатириком, точно распознающим пороки своего времени и окружающего мира, и вовсе не превращался в угрюмого мизантропа, для которого скверно и абсурдно все, что ни существует на земле.

Его упрекали в чрезмерной желчности. Внешне для таких упреков были все основания. Достаточно полистать твеновские записные книжки или заготовки к «Автобиографии». Сколько там отыщется язвительных, беспощадных слов о человеческой природе! Ну вот хотя бы: «Некоторые утверждают, что между человеком и ослом нет разницы; это несправедливо по отношению к ослу». Или запись, сделанная во время кругосветного путешествия: «Меня бесконечно поражает, что весь мир не заполнен книгами, которые с презрением высмеивали бы эту жалкую жизнь, бессмысленную вселенную, жестокий и низкий род человеческий, всю эту нелепую смехотворную канитель».

Сказано, кажется, уж до того мрачно, что суровее сказать о людях и о созданном ими мире невозможно. Но у Твена есть суждения и еще более безотрадные. Что такое — в его представлениях — человек? Всего-навсего мешанина из грубых инстинктов и чужих, заемных мыслей. Существо злое, лживое, раболепное…

Да, под старость его все чаще посещали такие вот грустные настроения. Но только неверно было бы полагать, что он отступил от своих гуманистических убеждений. Это не так. Он лишь стремился обойтись без «возвышающих обманов» и иллюзий. Ему претила трескучая болтовня либералов и радетелей о всеобщем благе, старательно не замечавших, насколько глубоко въелись в сознание множества людей фанатичные предубеждения, своекорыстные принципы, расистские поверья. Он отзывался о человеке резко, жестоко, но совсем не для того, чтобы вынести не подлежащий обжалованию приговор людскому роду, а затем, чтобы со всей четкостью указать на реальные человеческие беды, ошибки, заблуждения, которые необходимо преодолеть, если искренним остается стремление сделать мир справедливее и лучше.

И у Твена было достаточно свидетельств, подкрепляющих

самые нелестные для человека выводы, к которым он приходил. О какой, допустим, «врожденной порядочности» современников можно толковать, когда «поколением раньше их отцы и тогдашние служители церкви выкрикивали все ту же святотатственную ложь, когда они захлопывали дверь перед затравленным рабом, когда побивали горстку его человеколюбивых защитников цитатами из священного писания и дубинками, когда глотали оскорбления южан-рабовладельцев и лизали им сапоги». Да если бы что-то всерьез менялось на американской земле по мере «прогресса»! Но ведь все остается как было, и только низость и бесчестье справляют свое пышное торжество. «Алчность и корысть существовали во все времена, но никогда за всю историю человечества они не доходили до такого дикого безумия, как в наши дни».

Может быть, и самого Твена пугали эти мысли. Он боялся доверять их бумаге, а доверив, прятал от чужих глаз. В записной книжке 1904 года мы найдем горькое признание: «Только мертвым позволено говорить правду».

А все же Твен ее говорил — иногда прямо, чаще завуалировано, но так, что читатели его хорошо понимали. Тот Простофиля Вильсон, чьи сентенции послужили эпиграфами в книге «По экватору», был главным героем повести, созданной Твеном в 1894 году. Повесть — она так и озаглавлена: «Простофиля Вильсон» — не имела успеха у тогдашней публики. Сейчас ясно, что это одно из наиболее значительных произведений Твена. Здесь снова перед нами крохотный городок в Миссури, на берегу реки — он называется Пристань Доусона, но мог бы называться и Санкт-Петербургом, и Ганнибалом. И время действия — снова годы юности Твена, эпоха, предшествовавшая Гражданской войне.

Но до чего все в этой повести не похоже на атмосферу, памятную по «Тому Сойеру» и даже по «Геку Финну»! Не осталось ни следа от былого уютного, дремлющего под жарким солнцем мирка, где люди душевно расположены друг к другу и обязательно встретится бесконечно добрая тетя Полли или тетя Салли, а если ее заботливая опека начнет приедаться, всегда можно сбежать на Джексонов остров, а то и на романтичную индейскую территорию. Теперь вместо уюта — черствость и скотский быт заскорузлых провинциалов, вместо доброты — повседневно чинимая и никем даже не замечаемая жестокость, вместо романтики — серенькая, убогая будничность, в которой глохнет все человечное, все по-настоящему живое.

И вот в таком-то захолустье оказывается человек наблюдательный, думающий, независимый, а обыватели тут же

решают, что он наверняка с придурью, и дают ему прозвище Простофиля. По своим интересам, по своим духовным запросам Вильсон стоит на несколько порядков выше, чем все жители Пристани Доусона, вместе взятые, однако пройдет добрых двадцать лет, прежде чем это поймут и признают, да и то волею случайности. А пока Вильсону остается лишь возиться со стеклышками, на которые он снимает отпечатки пальцев своих соседей — так, забавы ради, просто из интереса к новой технике, разработанной криминалистами, — и заполнять страницы дневника краткими суждениями о жизни, которую он наблюдает.

Цитаты из его «Календаря» вынесены в качестве подзаголовков к главам, и они сумрачны до безнадежности. Все вокруг отвратительно, ничтожно, мерзко. А какие претензии, какая фанаберия, какое непрошибаемое самодовольство всех этих миссурийских рабовладельцев, мнящих себя светочами разума и гордых, точно индюки!

«Когда я раздумываю над тем, сколько неприятных людей попало в рай, — записывает Простофиля, — меня охватывает желание отказаться от благочестивой жизни». На земле, в Доусоне, с такими людьми, хочешь или нет, приходится соприкасаться ежедневно. Ну что же, у Вильсона достаточно причин мечтать об аде, если и за гробом ему предстоит общаться все с той же самой публикой. Ведь на его глазах преспокойно отправляют в низовья реки, туда, где страшные хлопковые плантации, ничем не провинившихся темнокожих слуг, и ради денег не брезгают никакой подлостью, и площадной бранью осыпают тех, перед кем еще вчера в ожидании каких-то выгод лакейски расшаркивались. И на его глазах развертывается история двух мальчиков, которые родились в один и тот же день и под одной крышей, но сразу же очутились на противоположных полюсах. Потому что Том — отпрыск состоятельного торговца и спекулянта земельными участками, а Чемберс — сын горничной, в чьих жилах есть малая толика негритянской крови.

Как тут не вспомнить «Принца и нищего»! Опять знакомый мотив двойников, которые от природы одинаково наделены и разумом, и чувством, но оказываются словно бы выходцами из разных миров, поскольку в жизни все решает не природа человека, добрая и прекрасная, а его социальное положение, богатство, престиж, унаследованный от предков. Действительно, исходная мысль здесь та же самая, что и в повести о Томе Кенти и принце Эдуарде, но разработана она совсем иначе, потому что за годы, разделяющие два произведения, очень изменился сам Твен.

Мальчиков поменяли в колыбели, и тот, кто от рождения бесправен, пользуется всеми преимуществами полноправного и

достопочтенного гражданина Доусона, а тот, кто по крови должен принадлежать к верхушке местного общества, попадает на самое дно. В «Принце и нищем» эта ситуация обозначала глубокую — и подлинную — родственность всех людей, которую Твен считал чем-то само собой разумеющимся, как безусловной представлялась ему та истина, что человек по своей природной сущности доброжелателен, гуманен, справедлив. Поэтому и коллизия увенчалась в той повести счастливым финалом — как и подобает сказке.

А в «Простофиле Вильсоне» все наоборот. Детей поменяла мать Чемберса, не хотевшая участи раба для своего сына. Быть может, Рокси и удалось уберечь его от хлопковой плантации. Но уж во всяком случае — не сделать счастливым. Чемберс вырос холодным эгоистом, картежником, трусом и предателем. Выкручиваясь из долгов, он не постыдился сбыть работорговцу собственную мать, а потом ради денег убил человека, который его выпестовал после смерти мнимого отца, да еще это убийство было так ловко обставлено, что жертвой правосудия едва не стал невиновный.

И ход событий убеждает, что заложенные от рождения качества, даже если они высоки и привлекательны, сами по себе ничего не могут определить в реальной человеческой судьбе. Вся суть в том, какие из этих качеств разовьются и станут определяющими, а тут уже решающая роль принадлежит среде, воспитанию, нравственному климату, в котором обитает личность. Видимо, природа одаряет человека самыми разными, даже несовместимыми свойствами, и бессмысленно гадать, чего в нем больше — добра или зла, честности или коварства, гуманности или подлости. От мира, где он живет, и от него самого — от его убеждений, принципов, понятий — зависит, каким станет в итоге тот или иной человек.

А если так, не Америка ли — страна, где рабство отравляет все отношения между людьми, — прежде всего и повинна в том, что моральным калекой вырос Чемберс, сызмальства перенявший изуверские представления, на которых держался весь порядок вещей в Доусоне? Простофиля Вильсон, которому отданы авторские симпатии, задумается об этом не однажды. И свой вывод сформулирует в суждении, заключающем повесть: «12 октября — день открытия Америки. Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо».

Пройдет пять лет, и Твен опубликует знаменитый рассказ «Человек, который совратил Гедлиберг» — произведение, где снова возникает парадоксальная идея: ад предпочтительнее, чем

будничное провинциальное житье-бытье, и Америку, вероятно, не стоило открывать. В этом рассказе тоже использован старый твеновский мотив — мистификация. Только теперь жертвой мистификации оказывается не какой-нибудь наивный простак, которого разыграли приятели, чтобы потом вместе посмеяться над остроумной проделкой. Жертва на сей раз — целый город, такой же заурядный, как Санкт-Петербург или Пристань Доусона, и рядом с ними выделяющийся разве что своей непомерной кичливостью.

Гедлиберг всегда был неукоснительно честен. Прямо-таки символ неподкупности. Местные жители привыкли похваляться своими добродетелями по любому поводу. И были искренне убеждены, что, явись в их город хоть Сатана собственной персоной, ему бы пришлось убраться восвояси ни с чем. Потому что Гедлиберг неподкупен. Потому что он верен своему девизу: «Не введи нас во искушение».

Но вот однажды странного вида человек — чужестранец, должно быть, — поздним вечером постучался в дом старого банковского кассира Ричардса и оставил там на хранение тяжелый мешок, в котором, как выяснилось, лежит ни много ни мало, — сорок тысяч долларов золотыми монетами. У незнакомца нет ни рогов, ни хвоста, но догадаться, что в Гедлиберг пожаловал не кто иной, как сам Дьявол, несложно — ведь цель его визита в том и заключается, чтобы ввести во искушение городишко, уж слишком гордившийся своей праведной моралью. И этой цели он добивается, прибегнув к мистификации, как поступил бы на его месте типичный герой фронтира. А когда его гнусный замысел исполнен, золото окажется всего лишь свинцом, которому грош цена. Так у Гоголя в «Пропавшей грамоте» нечистая сила превращает в кучу битых черепков выигранные у нее бравым казаком червонцы.

Ну а мистификация разыграна отменно. Тут и трогательная история о милосердии, будто бы проявленном одним из гедлибергцев в трудную для чужестранца минуту. И девятнадцать посланных из разных концов страны писем, в которых именитым гедлибергским гражданам сообщалось, какие именно слова произнес неведомый благодетель, наставляя на путь истинный заблудшую душу. И — как следствие — девятнадцать претендентов на награду, прекрасно знающих, что лишь один человек — он всю жизнь враждовал с ханжеским Гедлибергом, а теперь, хвала всевышнему, покоится в могиле — мог быть таким благодетелем, но тем не менее уже прикидывающих, как бы повыгоднее пустить в оборот ожидающую их огромную сумму. А в финале — общий конфуз, и презрительный хохот толпы, на чьих

глазах рушатся оплоты гедлибергской нравственности, и триумф Лукавого, принявшего обличье торговца-антиквара.

Его торжество станет полным после того, как развеется миф о том, что один честный человек в Гедлиберге все же нашелся. Ричарде, которого в городе всегда считали воплощением непоколебимой добродетели, тоже поддался дьявольской уловке, но это удалось скрыть. Что же, Сатана — настоящий джентльмен, и одолевших его он умеет вознаградить по справедливости. Но деньги, которыми он одарил Ричардса, пахнут смертью. Они убивают. Только, может быть, убивают всякие деньги, и не суть важно, преподнесены они Нечистыми, добыты интригами, нажиты скопидомством?

Дьяволиада — это особая глава в истории литературы: ее на протяжении столетий писали многие мастера слова, и каждый вносил что-то свое, неповторимое. Дьявол представал символом зла, искусителем рода человеческого, страшной темной силой, как в библии. Но мог предстать и бунтарем против скверного общественного устройства, духом свободы. Или умным, ироничным и беспощадным в своей последовательности комментатором людской глупости, в каких бы формах она ни проявлялась.

У Твена Дьявол не комментирует — он просто распоряжается, как истинный хозяин, которому подвластны и мысли, и поступки, и души даже самых вроде бы беспорочных обитателей гедлибергов, разбросанных по Америке от океана до океана. Он спокоен и уверен в себе, этот Дьявол, потому что ему-то хорошо известно, насколько всесильна жажда обогащения, превращающая людей в своего рода роботов и убивающая в них нравственное чувство.

И с каждой новой его победой все обоснованнее становятся сомнения Простофили Вильсона в том, что Америку действительно стоило открывать.

Но когда такие сомнения начинали овладевать самим Твеном, из глубин памяти выплывал мирный городок его детства, и рука тянулась к перу, чтобы продолжить рассказ о Томе и Геке, просто побыть в их обществе, ведь, наверное, они одни могли бы поспорить с пессимистом Вильсоном всерьез.

У Твена были разные планы завершения истории двух его любимых героев. И несколько раз он принимался за эту работу. Он написал повестушку «Том и Гек среди индейцев», даже начал ее печатать в журнале для подростков, но оставил эту идею, убедившись, что у него выходит чисто приключенческая книжка. А ведь когда Гек замышлял бегство на «индейскую территорию», он думал не о приключениях, а о том, как бы сохранить свою

свободу от посягательств не в меру благочестивой тети Салли, которая уж непременно превратила бы его в какого-нибудь почтенного гедлибергца. В «Геке Финне» речь шла о слишком сложных вещах, чтобы теперь удовольствоваться обычной детской игрой.

Потом, в 1894 году, появился «Том Сойер за границей». С Томом все оказывалось намного проще — он как был, так и остался фантазером и искателем захватывающих авантюр, и на воздушном шаре он себя чувствовал так же естественно и свободно, как прежде на Джексоновом острове. Этот воздушный шар он увидел на выставке в Сент-Луисе и, конечно, тут же в него забрался, отвязал канат — Джим и Гек, его спутники, ахнуть не успели, как шар взмыл ввысь. Так втроем они и перелетели через Атлантику, пронеслись над Европой и прибыли куда-то в Аравию. Том в ту пору воспламенился мыслью сделаться крестоносцем, а крестовые походы, помнится, совершались как раз в этих местах или где-то поблизости.

Рассказчиком Твен сделал Гека, хотя в новой повести Геку фактически оставалось лишь подыгрывать Тому да порой его одергивать, когда приятель слишком явно хватал лишку в своих проектах. И рассказ вышел занимательным, порой смешным, но не более того. Исчезли и поэзия, и тайна, которые зачаровывали в «Томе Сойере». Пропала непринужденность, притупилась свежесть и необычность ощущения мира. «Том Сойер» был художественным открытием. «Том Сойер за границей» — лишь повторением. И не слишком удачным.

А «Том Сойер — сыщик», еще одна повесть из той же серии, напечатанная в 1896 году, и вовсе не получилась. Здесь наши старые знакомые расследуют одно темное дело, которое связано с похищением бриллиантов. Взрослые безнадежно увязли в перипетиях этой аферы, зато Том и Гек довольно быстро находят преступников и спасают ложно заподозренных. Сами они тоже не остаются в накладе. Приличное вознаграждение за услуги пополнит их счет, открытый еще после того давнего приключения с поисками клада в пещере.

Но суть-то в том, что по своему характеру они не годятся ни в бизнесмены, ни в ростовщики. Так для чего им эти деньги? Еще подростками они могли бы хоть завтра открыть собственную контору, а потом спокойно подсчитывать прибыли. Нет, подобное занятие явно не для них. А где отыскать другое? Как сделать, чтобы романтики остались романтиками, хотя подходит для них пора возмужания и, видимо, никуда не деться от солидно обставленного быта, пусть при одной мысли о нем сводит скулы со скуки.

Твену так и не суждено было найти решение этой проблемы. Да это и невозможно было сделать, если считаться с реальными американскими условиями. А не считаться с ними, сочинять успокоительные сказочки он не мог. И оставался единственный вариант, конспективно изложенный в записной книжке: «Гек возвращается домой бог знает откуда. Ему шестьдесят лет, сошел с ума. Воображает, что он еще мальчишка, ищет в толпе Тома, Бекки и других. Из скитаний по свету возвращается шестидесятилетний Том, находит Гека. Вспоминают старое время. Оба разбиты, отчаялись, жизнь не удалась. Все, что они любили, все, что считали прекрасным, исчезло. Умирают».

Такая повесть не была написана, хотя Твен говорил о ней со своим секретарем совсем незадолго до смерти — в 1910 году. Может быть, он просто не успел за нее взяться. Но скорее, не захотел. Слишком тяжело было бы вот так распрощаться со своими героями. И с последними светлыми воспоминаниями, которыми заполнены страницы двух самых прославленных твеновских книг.

Кто знает — пожалуй, хорошо, что для читателей всего мира рассказ о Томе и Геке завершился на том, что они спасли Джима и замыслили побег к индейцам. Сколько уже сменилось читательских поколений, а Том и Гек не состарились ни на год. Они и сегодня рядом с нами и все так же заставляют сопереживать им, и радоваться каждой их удаче, и делить их невзгоды. Мы понимаем, до чего им будет непросто в Америке, когда они вырастут. Но для нас они, видимо, навсегда останутся подростками. Как и Том Кенти. И принц Эдуард. И Жанна из Домреми. И все другие твеновские персонажи с их юношеской влюбленностью в жизнь, доверием к романтике, жаждой справедливости, самоотверженной верностью мечте.

И, перечитывая книги Марка Твена, мы будем снова и снова погружаться в совершенно особый, увлекательный и яркий мир, где порою дуют очень холодные ветры, но не гаснет огонек настоящей человечности.

Основные даты жизни и творчества Марка Твена

1835, 30 ноября — в деревушке Флорида, штат Миссури, родился Сэмюэл Клеменс.

1839 — переезд семьи Клеменсов в город Ганнибал (будущий Санкт-Петербург в книгах о Томе Сойере и Геке Финне).

1847 — смерть отца Твена, судьи Клеменса. Сэмюэл становится учеником в типографии Амента.

1848–1857 — Твен сотрудничает в газете своего брата Ориона. Первые пробы пера.

1857, март — отъезд из Ганнибала в Новый Орлеан, где Твен становится учеником лоцмана Биксби.

1858 — Твен — помощник лоцмана на пароходе «Пенсильвания», затем на «Лейси». В результате взрыва котлов на «Пенсильвании» погибает младший брат писателя Генри.

1859–1861 — лоцманская служба Твена.

1861 — в газете «Кресчент» (г. Новый Орлеан) печатаются юморески Твена за подписью Квинтус Куртиус Снодграсс.

1861, апрель — в США начинается Гражданская война между северными и южными штатами, продлившаяся до 1865 г. Оказавшись в армии южан, Твен вскоре дезертирует и уезжает вместе с Орионом на Дальний Запад, в Неваду.

1862 — Твен — старатель в Неваде, затем репортер в газете «Территориел энтерпрайз», издающейся в столице Невады Вирджиния-Сити.

1863 — первая заметка, подписанная псевдонимом Марк Твен.

1864 — переезд в Сан-Франциско. Твен сотрудничает в местной газете «Колл», но вскоре вынужден уйти из-за разногласий с редактором.

1865 — написана «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса».

1866 — поездка на Гавайские острова. Первые публичные выступления Твена, читающего с эстрады свои фельетоны и скетчи.

1867 — переезд в Нью-Йорк.

1868 — в качестве корреспондента газеты «Альта Калифорния» Твен совершает первое путешествие по Европе и Ближнему Востоку на пароходе «Квакер-Сити», зафрахтованном для экскурсий в «Святую Землю» — Палестину. Свои впечатления от поездки он описывает в книге «Простаки за границей»,

опубликованной в 1869 г.

1869 — выходят «Журналистика в Теннесси», «Мои часы» и другие юмористические рассказы, принесшие Твену славу.

1870 — женитьба на Оливии Лэнгдон, дочери углепромышленника из г. Элмайра (штат Нью-Йорк). Написан рассказ-памфлет «Друг Гольдсмита снова на чужбине».

1871 — Твен с семьей поселяется в Хартфорде, где проведет последующие два десятилетия.

1872 — написана книга воспоминаний о жизни в Неваде — «Налегке».

1873 — в соавторстве с Чарлзом Уорнером Твен пишет роман «Позолоченный век», в котором разоблачается деляческий ажиотаж, вспыхнувший в США после Гражданской войны.

1875 — работа над книгой очерков «Жизнь на Миссисипи». В Элмайре, на ферме родственников Оливии, Твен начинает писать книгу о Томе Сойере.

1876 — «Приключения Тома Сойера» вышли в свет.

1878 — второе путешествие в Европу, итогом его стала книга юмористических очерков «Пешком по Европе».

1880 — Твен задумывает повесть на сюжет из английской истории и читает первые ее главы вслух своим дочерям Сюзи и Джин.

1882, январь — роман «Принц и нищий» вышел в свет.

1883 — Твен завершает цикл очерков «Жизнь на Миссисипи».

1884, декабрь — в Англии вышли «Приключения Гекльберри Финна» (в 1885 г. — американское издание).

Вторая половина 1880-х — инженер Пейдж знакомит Твена с изобретенным им наборным станком усовершенствованной конструкции. Твен на свои средства учреждает фирму, чтобы внедрить это изобретение, оказавшееся мертворожденным. Терпит крах основанное Твеном издательство. Писатель разорен, появляются крупные долги.

1889 — опубликован роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».

1891 — Твен с семьей уезжает в Европу, где пробудет четыре года, ненадолго возвращаясь в США.

1892 — выходит повесть «Американский претендент».

1893 — работа над повестью «Простофиля Вильсон». Твен возвращается к Тому Сойеру и Геку Финну и пишет повесть «Том Сойер за границей».

1894 — банкротство Твена.

1895, май — возвращение с семьей в Америку.

1895, август — кругосветное турне с публичными выступлениями, гонорар от которых шел на покрытие долгов.

1896 — опубликованы «Личные воспоминания о Жанне д'Арк сьера де Конта, ее пажа и секретаря».

1897 — Твен публикует третью книгу очерков о путешествиях за границу — «По экватору». Книга содержит резкие обличения колониального гнета и разбоя.

1899 — напечатан рассказ «Человек, который совратил Гедлиберг».

Первая половина 1900-х годов — Твен пишет памфлеты, обличающие захватническую внешнюю политику США и бесправие отверженных американского общества («Человеку, Ходящему во Тьме», «Соединенные Линчующие Штаты» и другие). Работает над своим последним художественным произведением — повестью «Таинственный незнакомец» (опубликована посмертно в 1916 г.) и диктует «Автобиографию» (в сокращении напечатана в 1924 г.).

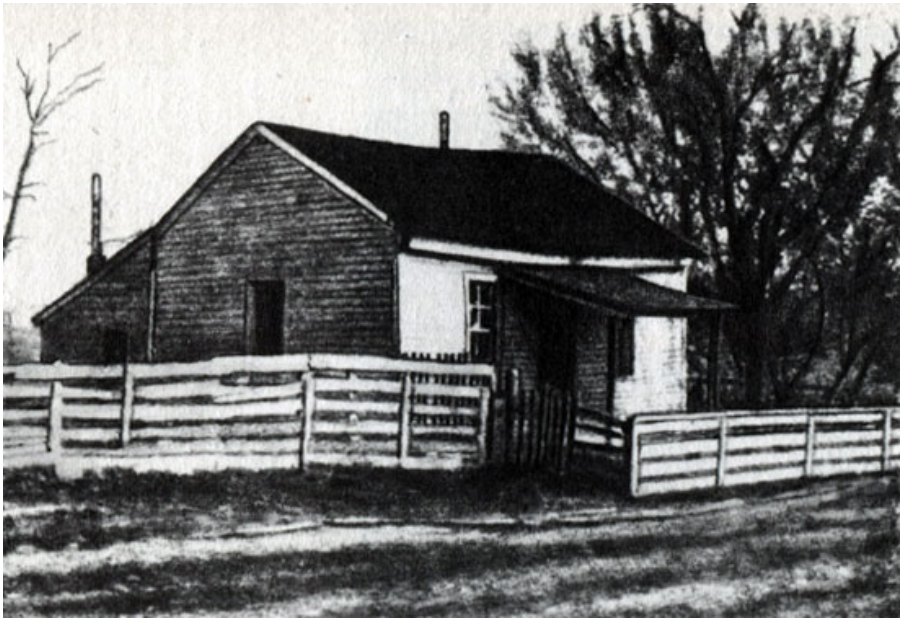
1904 — смерть Оливии Клеменс.

1905 — напечатаны памфлеты «Монолог царя» и «Монолог короля Леопольда», пишет антимилитаристскую статью «Военная молитва» (напечатана в 1923 г.).

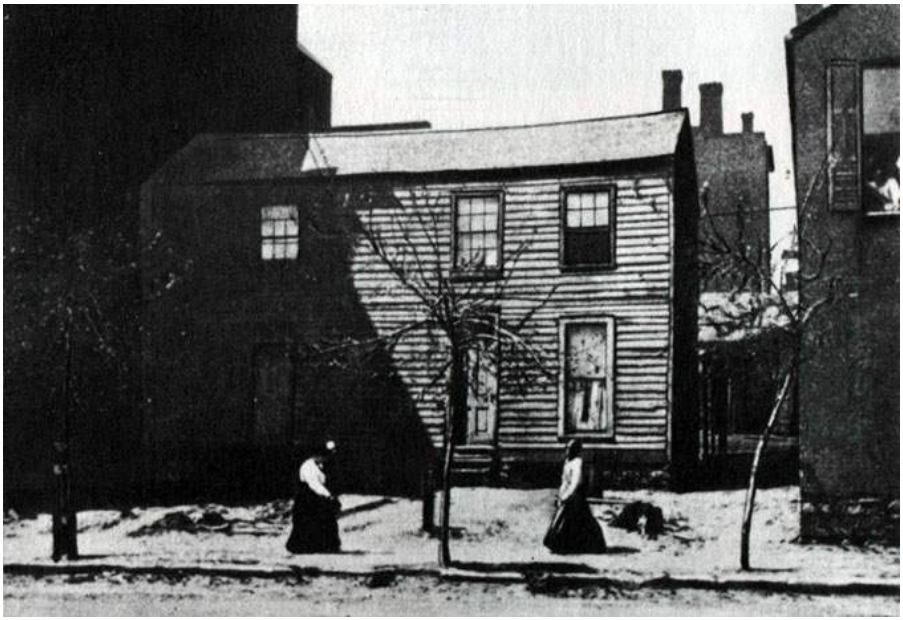
1908 — переезд в Реддинг (штат Коннектикут).

1910, 21 апреля — смерть Марка Твена. Похоронен в Элмайре.

Иллюстрации



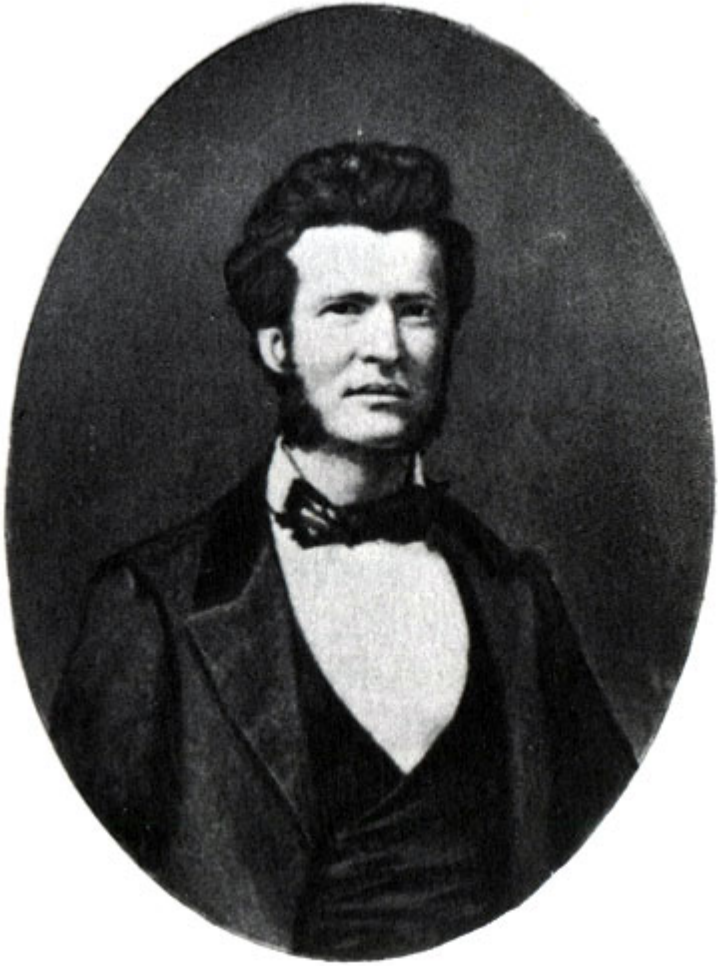
Дом в поселке Флорида, штат Миссури, где 30 ноября 1835 г. родился Сэмюэл Клеменс (будущий писатель Марк Твен)



Школа в Ганнибале. «Дремотные звуки лета доносились через

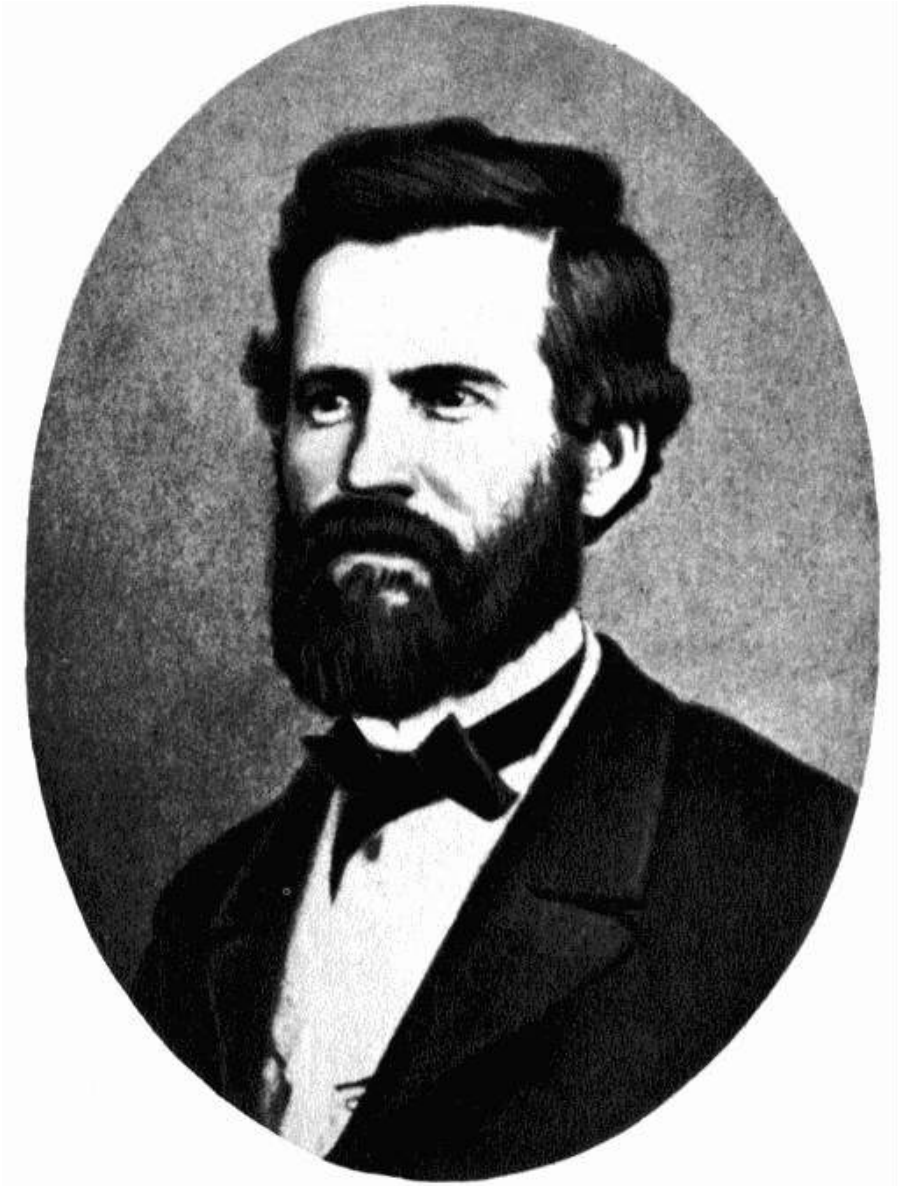
открытое окно и, сливаясь с бормотанием зубрящих учеников, делали его еще более заунывным» (из «Автобиографии»)

Лоцманскому ученику Сэму Клеменсу 18 лет



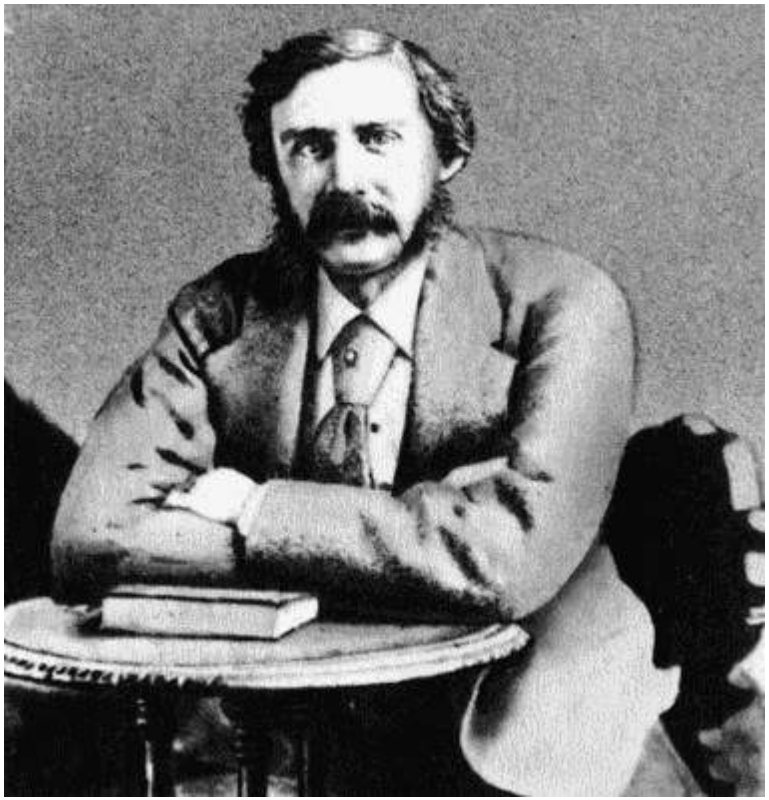
Твен в годы лоцманской службы на Миссисипи

Джейн Лемптон Клеменс (1810–1873) — мать писателя



Орион Клеменс — старший брат Твена. «Он был большой чудак… но это был благороднейший человек» (из «Автобиографии»)

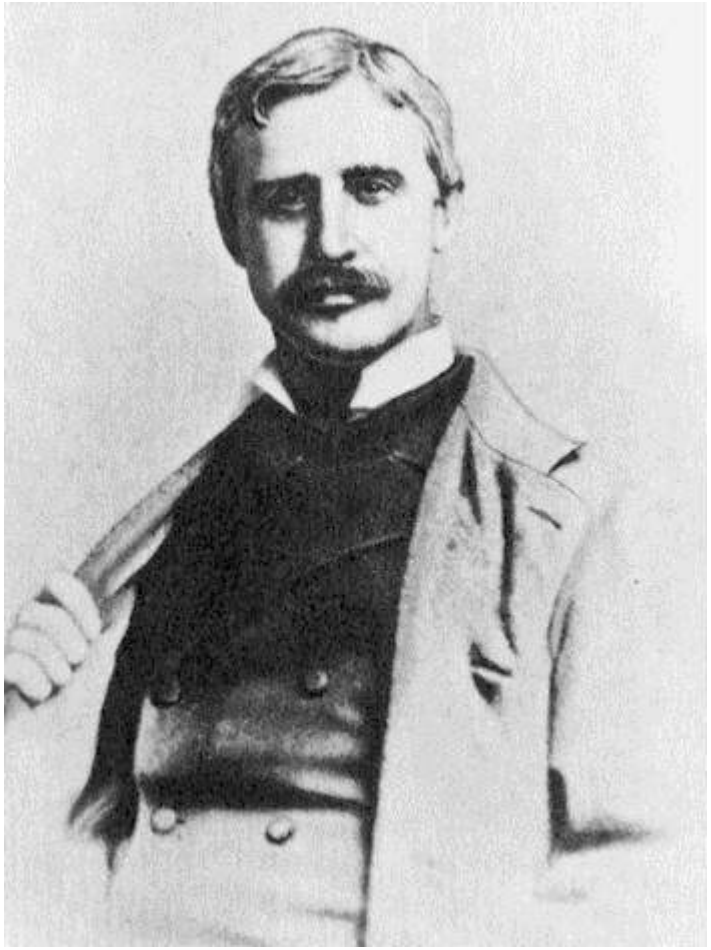
Генри Клеменс, младший брат Твена, погиб в юности во время взрыва парохода, на котором он работал клерком



Писатель Фрэнсис Брет Гарт (1836–1902)

Писатель Уильям Дин Хоуэлс (1837–1920). Твен подружился с ним в начале 1870-х годов, их дружба продолжалась до конца жизни Твена

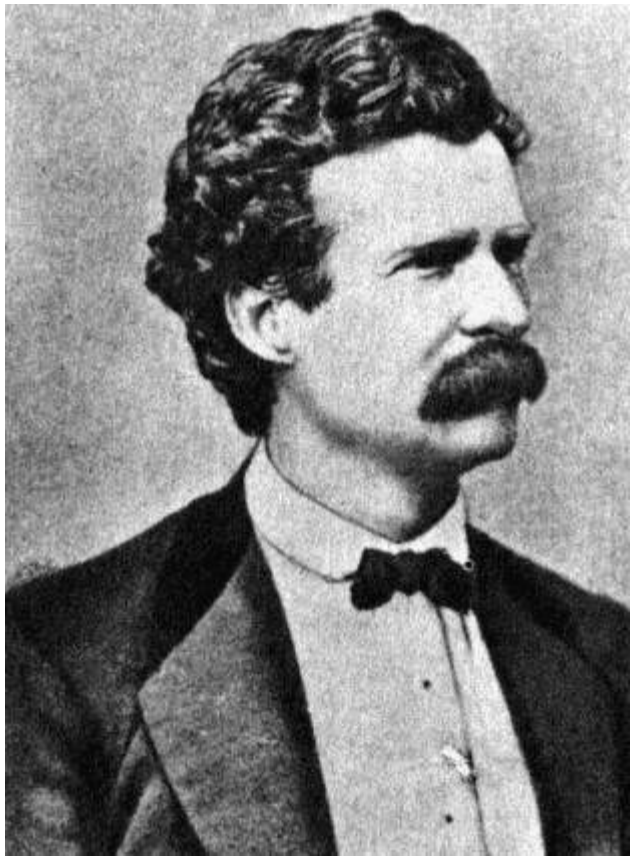
Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896), жившая в Хартфорде по соседству с Твеном и дружившая с ним. Твен высоко ценил ее книгу «Хижина дяди Тома»



Джозеф Твичел, пастор Хартфордской церкви, близкий друг Твена, вместе с которым он совершил путешествие, описанное в книге «Пешком по Европе»

Любимая дочь писателя Сюзи (1872–1896)

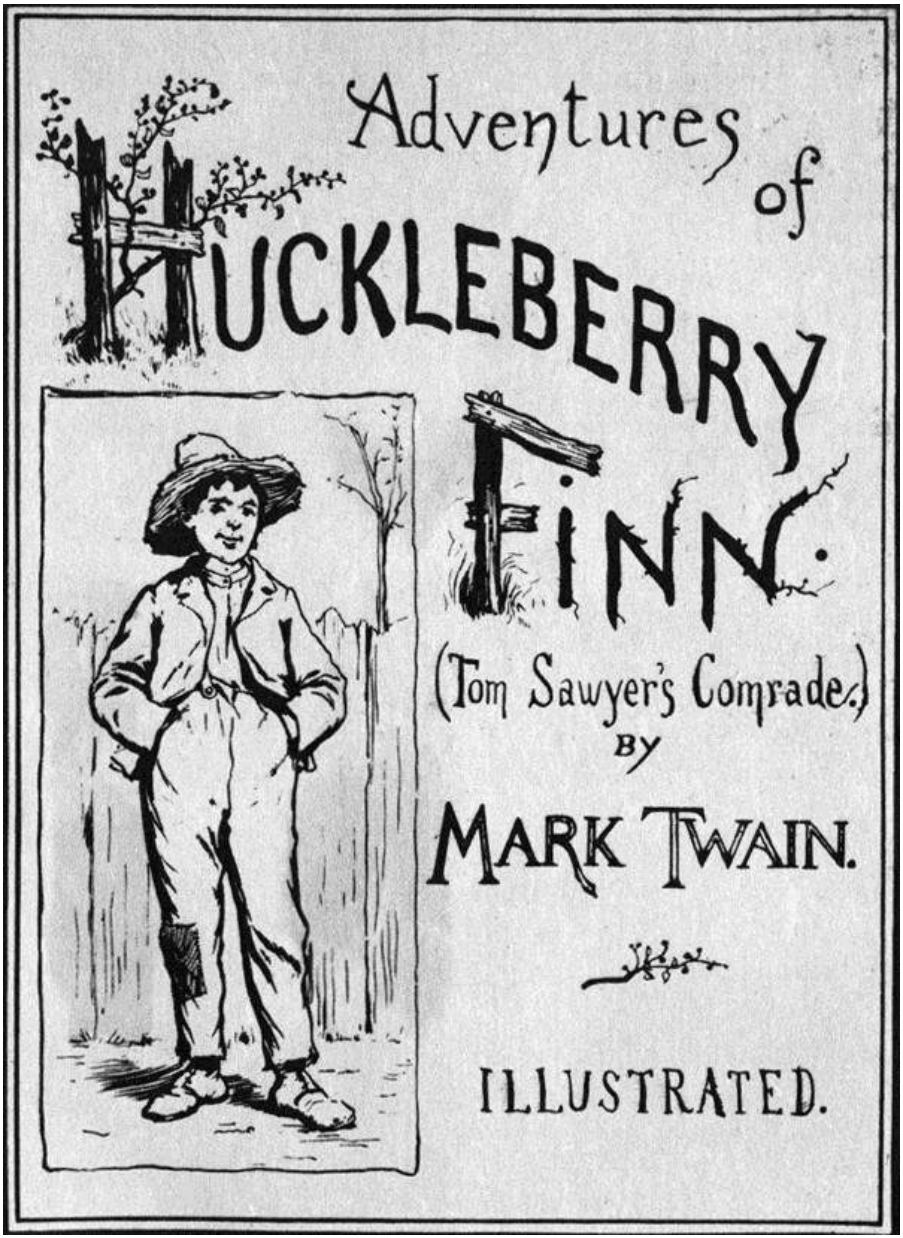
Оливия Лэнгдон в канун их свадьбы (1870)



Марк Твен в канун их свадьбы (1870)

Дочь Твена Джин (1880–1909)

Дочь Твена Клара (1878–1959)



Иллюстрации Э. Кембла к первым изданиям «Приключений Тома Сойера» и «Приключений Гекльберри Финна»

Том Сойер

Гек Финн

Сид, брат Тома Сойера

Бекки Тэчер

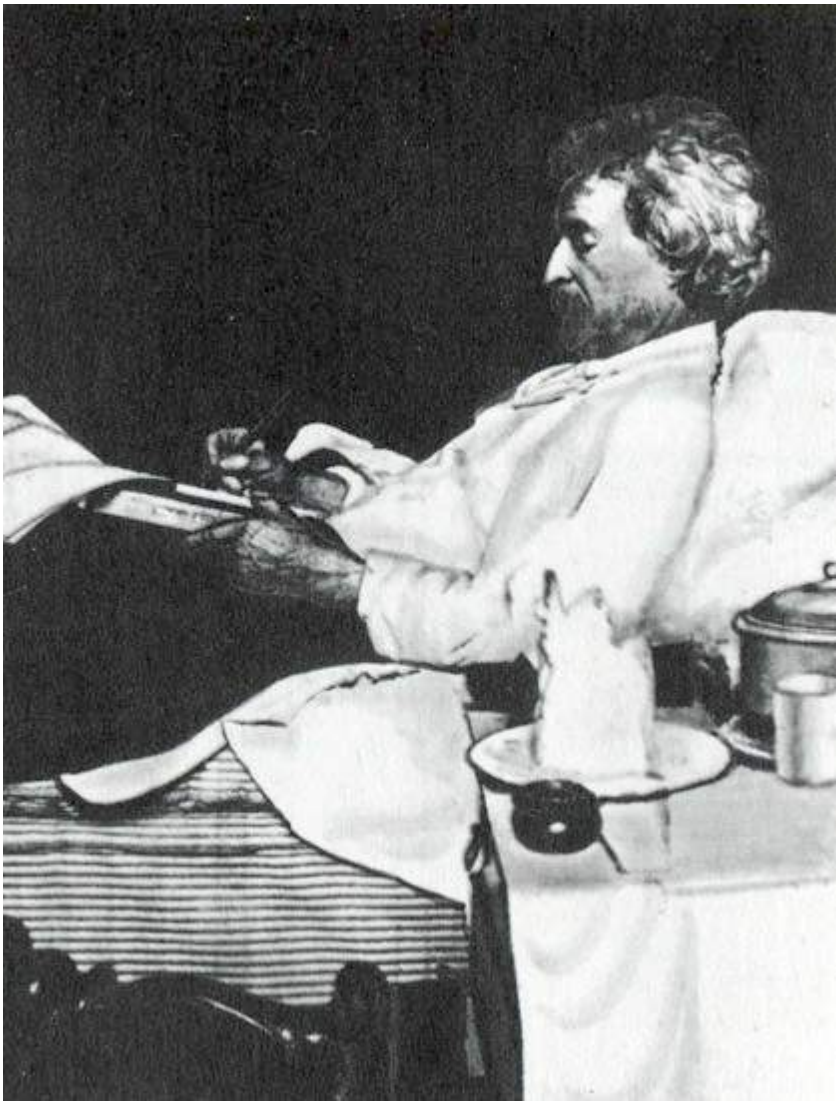
Тетя Полли

Папаша Финн

Гек и Джим в пещере на острове

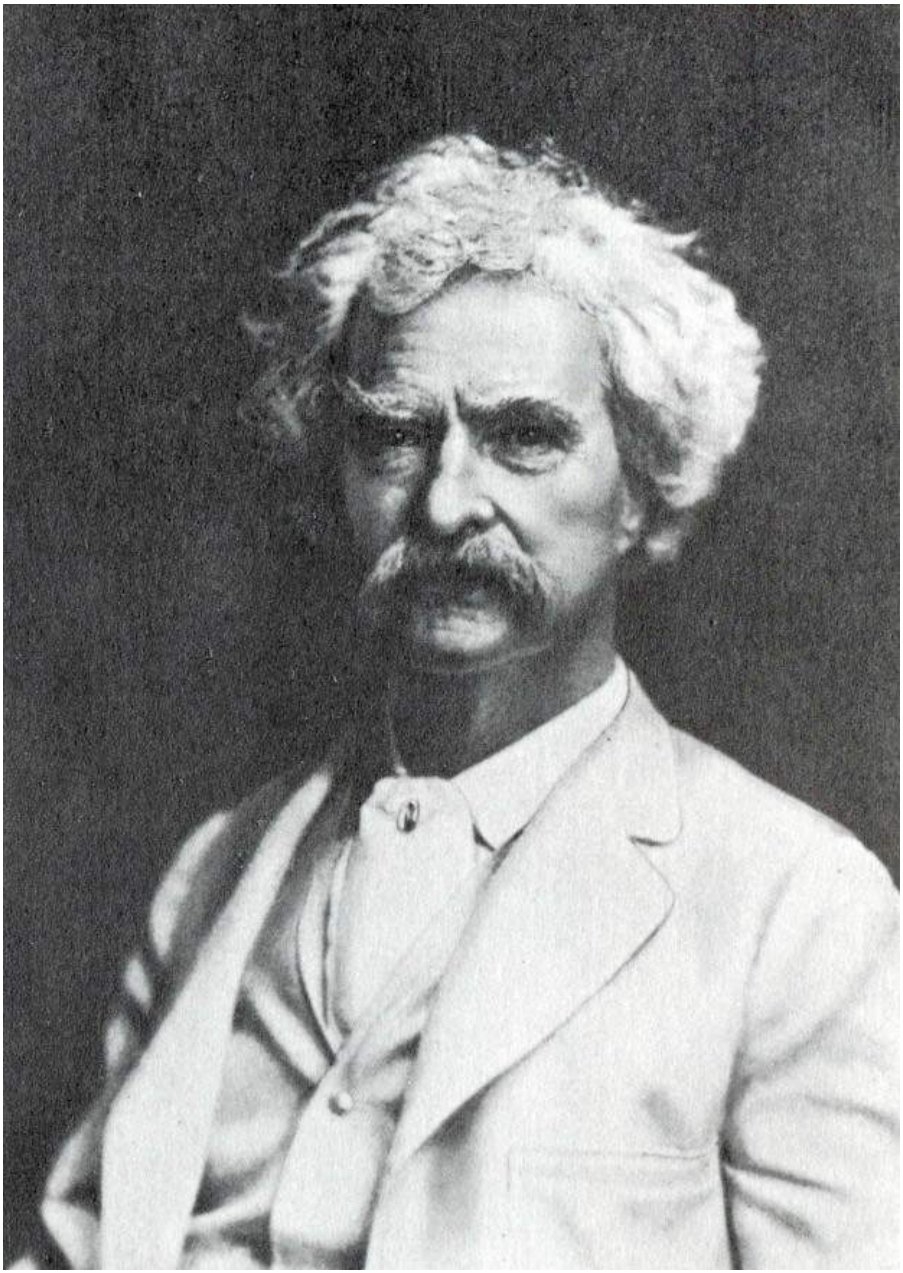
Твен в Элмайре, загородном поместье Лэнгдонов, где написаны его лучшие книги. 90-е годы

Твен перед домом Клеменсов во время своего посещения Ганнибала — впервые после 36-летнего отсутствия



Писатель за работой в своем кабинете. Снимок сделан в 1904 г. секретарем и биографом писателя Олбертом Биглоу Пейном, написавшим трехтомную биографию Твена

На приеме в честь А. М. Горького, устроенном с целью сбора средств в помощь русским революционерам. Нью-Йорк, апрель 1906 г.



Твен в 1906 г.

К читателям

Свои отзывы о прочитанных книгах издательства «Детская литература» присылайте по адресу: 125047, Москва, ул. Горького,

43. Дом детской книги.

notes

Примечания

1

Моисей — библейский пророк; десять его заповедей определяют, как должен поступать человек, чтобы его вера сохранилась во всей чистоте.

2

Согласно библейской легенде, Лазарь был воскрешен Христом на третий день после смерти.

З

Гейнс Эдмунд Пендлтон (1777–1849) — генерал, получивший известность во время войны США с индейцами и мексиканцами.

4

Миля (морская) — единица длины, равная 1852 м.

5

Здесь — рыцари из свиты короля.